

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ



КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ*

СОЛДАТСКИЕ ИСТОРИИ

Эти истории рассказаны разными участниками Великой Отечественной войны: артиллеристами, связистами, лётчиками, — солдатами и офицерами. К сожалению, некоторых из них уже нет на свете. Из этих историй складывается пёстрая, трагическая и мужественная картина войны, — картина нашей Великой Победы.

1942—1943 годы

— На Варшавке дело было...

Мы возвращались из разведки. Десять человек. Ходили через линию фронта — армию Ефремова искали. 33-я тогда выходила из-под Вязьмы. А нам, разведчикам, приказ: встречать выходящих и выводить их по безопасным коридорам сюда, на позиции нашей 50-й армии.

Никого мы не встретили. Четверо суток бродили по лесам, заходили в деревни, спрашивали. Нет, никто не проходил. Как потом оказалось, Ефремов выходил северо-западнее нашего участка. Однако я не к тому. Стали мы возвращаться, и на выходе уже случай у нас такой вышел...

Самое опасное — перейти Варшавку. По шоссе часто передвигались немецкие патрули — лёгкие танки или бронемашины с пулемётами. Попадёшь на такой патруль — крышка. Варшавку решили переходить рано утром. За две недели до этого, днём, напоролись на пулемёт. Стали переходить и — попали. Трех в плащ-палатках принесли... Дождались, когда рассветать начнёт, когда самый сон, и побежали. Бежим! Вот уже противоположная обочина в двух шагах. А оттуда подхватывается такая же группа, человек

* Первая часть книги С. Михеенкова "Когда мы были на войне..." была напечатана "НС" в № 6 за 2008 г.

десять — немцы! — и нам навстречу! Тоже, видать, разведка. Из нашего тыла возвращалась. Я своим: “Назад!” Немцы тоже что-то закричали. Мы — назад прыгнули. Они — тоже. А один немец впопыхах замешкался и к нам попал. С перепугу не туда прыгнул. Лежит — ни живой ни мёртвый. Молчит. Мои ребята его воспитками, да из траншеи выпихивают — к своим, мол, беги. Как он блянул туда, через дорогу! Да с криком! Ребята засмеялись, так и грянули все разом. Слышим, и немцы за дорогой гогочут. Ладно, без стрельбы обошлось, и то хорошо. А расхотиться всё же как-то надо. С минуты на минуту патруль может появиться. Смотрим, немец один встал, автомат за спину закинул, кричит: “Иван, ты — правее! Я — левее!” Слышим, зашумели, и вправду левее поползли. Только спины из кювета виднеются. Тогда я своим рукой махнул — выходить правее. Не обманули, пулемёта там ихнего не оказалось.

Шоссе мы перешли благополучно. Никого на этот раз не потеряли. Так и разошлись.

— В конце апреля один из стрелковых батальонов нашего 112-го стрелкового полка с тяжёлыми боями форсировал по льду небольшую речушку. Названия её не помню. Это где-то недалеко от станции Барятино нынешней Калужской области. Батальон захватил небольшой плацдарм и закрепился на нём. Но вскоре потеплело, и речка разлилась. Пошёл лёд. Немцы решили воспользоваться тем, что батальон оказался отрезанным от основных сил, и стали подтягивать к плацдарму свежие силы. Решили сбить наши роты в разлившуюся реку.

Наше командование тоже не дремало. Переправили на плацдарм ещё одну стрелковую роту и миномётный взвод. Решено было доставить туда и одну противотанковую пушку с орудийным расчётом. В этом расчёте состоял и я — водителем полуторки, которая и таскала пушку. Нашим на плацдарме нужна была хотя бы одна пушка — на случай танковой атаки.

Как на тот берег переправить пушку? Только по мосту. Но мост тот находился на нейтральной полосе между укреплениями немцев и траншеями нашего полка. Его охраняли немцы.

Ночью разведчики пробрались к мосту, тихо сняли охрану. Подали нам условный сигнал.

Поехали. Когда я подвёз пушку с расчётом к мосту, то увидел, что настил весь под водой. Вода залила его примерно на полметра. Вода со льдом шла поверху. Кое-где торчали столбики — остатки перил.

Артиллеристы прыгнули с кузова и пошли впереди машины. Я видел, как они иногда проваливались по пояс в ледяную воду. Нужно было определить края настила. Наконец, выстроились в две шеренги, и я проехал между ними. Но возле самого берега из настила вымыло и унесло два бревна. Передние колёса сразу провалились. Что делать? “Ребята, — говорю, — быстро давай брёвна!” Брёвна тут же принесли, подсунули под колёса. Я поддал газу — проскочил. Пушка тоже прошла благополучно.

Но немцы услышали нашу возню. Открыли огонь. Стреляли они из автоматов, из перелеска. Наши разведчики, которые снимали охрану, тут же ответили им. Мы тем временем проскочили в расположение батальона.

А там, возле моста, поднялся настоящий переполох. Немцы окончательно опомнились, осветили мост ракетами и начали кидать мины.

Потерь у нас не было.

Через несколько дней, как и ожидалось, на плацдарме был бой. Немцы атаквали. Но батальон выстоял. А вскоре речку форсировал и весь полк. Батальон во время форсирования полком речки вёл заградительный огонь. Стреляла и наша пушка.

— В апреле нам выдали сапоги. До этого, уже по воде, ходили в валенках.

И вот нам дают задание взять “языка”. А дело было под Баскаковкой Выходского района Смоленской области.

Пошли. В группе шестеро. Шли по компасу. Чтобы не потерять ориен-

тира и не вернуться к своим. Всю ночь проходили. Нигде нам удачи не было. Промокли насквозь.

Вышли на вырубку. Присели отдохнуть. Рядом деревня. В деревне немцы. А уже светало. Надо было возвращаться. Возвращаться с пустыми руками, с невыполненным заданием. Галкин опять с нами. И говорит: “Да, братцы, видать, мне сегодня детонатор кусать не придётся”. Ему: “Да пошёл ты к чёрту! Командир за такую разведку шею намылит”. — “Намылит, не намылит, а завтра в ночь опять идти”. — “Это уж точно”. Сидим так, тихо рассуждаем о своей горькой участи и вдруг видим: по дороге идёт немец. Винтовка закинута за плечо. Идёт, посвистывает. Не боится. Как у себя на родине. А чего ему бояться? В деревне сильный немецкий гарнизон. Мы даже танки видели.

Мы сразу присели. Поползли к дороге. Рассредоточились. Не первый раз в разведке. Зимой через “нейтралку” ползали, через минные поля, под пулемётами, а тут как на прогулку вышли. Лежим. Немец всё ближе. Посвистывает. Снег поддаёт. Настроение у него хорошее, видать, письмо от фройляйн получил. Сбили мы его с ног. Винтовку он успел снять с плеча. Вырвали мы у него из рук винтовку. В рот — кляп. Скрутили. Только с ним управились, глядим, оттуда же, из деревни, ещё около взвода идёт. Увидели нас, закричали, стали стрелять. У них же у каждого унтера и сержанта, и даже у более нижних чинов, бинокли.

Мы — ходу. Они погнались. Видать, хотели отбить своего. Четверо из нашей группы прикрывали отход. Мы, двое, немца волокли. Снег, помню, глубокий, бежать тяжело. Немец тоже тяжёлый, да ещё упирался. Я ему тогда стволом его винтовки — в бок. Ага, понял, побежал живее. Лес голый, не вот и спрячешься от пуля. Мы бежим, слушаем, как группа прикрытия из автоматов стреляет. Два автомата, три, четыре... Все живы. Стреляют экономно, прицельно, короткими очередями. Чем глубже мы уходили в лес, тем сильнее немцы стали отставать. Вскоре совсем прекратили преследование. Последний раз ударили три раза залпом из винтовок и ушли.

Весь день бродили по лесу. Свечерело. Наконец, вышли к железнодорожной станции. Станция — Баскаковка. Вышли неосторожно. Нас обнаружили. С вышки часовой осветил прожектором и обстрелял из пулемёта. Немцу мы сразу голову нагнули. Жалко такого немца терять. Мёртвого не потащишь. Мы уже мёртвых таскали. Знали, что командир эскадрона тут же назад наладит. Немец и сам стал голову прятать.

Когда мы уходили от преследования, потеряли ориентир. И возвращались уже другой дорогой. Заблудились. Вот это было страшно. Ну, думаем, если тут гарнизон большой, сейчас вышлют взвод и окружают. Решили так: если станут окружать, немца придётся пристрелить. Ползём, снег месим. Пули трассирующие поверху идут. Выползли. Свалились в лощинку. Станцию обошли и вышли на свою тропу, которой накануне входили. Стрельба позади прекратилась. Погони не было. Слава тебе, Господи!

Немца вёл я. Винтовка его у меня в руках была. Когда вышли из-под обстрела и сели на снег отдохнуть, он мне по-русски и говорит: “Сержант, давай закурим”. — “Давай! — говорю. — Чего ж не закурить? Только курить будем твой”. — “Гут”, — говорит. А когда я его обыскивал, пачку сигарет забирать не стал.

Развязали мы ему руки. Закурили.

Утром мы немца привели в полк. И снова получили награду! Да какую! По шесть пачек папирос и по шесть пачек махорки! О! Тогда, в окружении, это была большая награда.

— Однажды мы шли рядом с командиром нашего корпуса генералом Павлом Алексеевичем Беловым. Это было километрах в сорока от Ельни. Шли в сторону Спас-Деменска.

Уже несколько дней не ели. Самолёты нам иногда сбрасывали продукты и боеприпасы. Но очень часто всё это попадало к немцам.

В этот раз в лесу мы нашли две пачки концентратов и гороха. Вскоре остановились на привал. Сразу развели костерок, поставили котёл. Только

наша каша закипела, варевом запахло, наше боевое охранение подняло стрельбу. Слышим, немцы кричат: “Иван! Давай генерала!”

Немцы за Беловым постоянно следили. Их самолёт-корректировщик, двухфюзеляжный “фокке-вульф”, так и висел над лесом. То поднимется, то опустится. Всё они о нас знали. Куда какая группа направляется и в каком числе. И с какой группой идёт командующий, тоже знали. А по нашим следам шли специальные группы. Они были немногочисленные. Охотились за Беловым.

Побежали мы от котла на выстрелы. Смотрим, стоит наш офицер, командир химзвода. Рядом солдаты из боевого охранения. Возле них несколько убитых немцев и раненый офицер. Командир химзвода приказал нам перевязать немца. Мы его перевязали кое-как, переложили на плащ-палатку. У немцев были треугольные камуфлированные плащ-палатки. Принесли его к генералу. Рядом с Беловым стояли несколько офицеров штаба. Те стали допрашивать немца. Но что-то разговор у них не получился. И застрелили они того офицера.

После этого случая Белов исчез. Одни говорили, что вылетел через линию фронта на самолёте. Но в то время самолёты мы уже не принимали. Аэродромы распустило. Другие говорили, что, мол, генерала вывели партизаны. Третьи — что увела наша разведка.

Потом в мемуарах Белова я прочитал, что он вышел в зону действия партизанского отряда имени Лазо. А штаб его остался. И впоследствии был эвакуирован на самолётах.

— О том, как вылетал штаб Белова, я отчасти знаю.

Нас, тех, кто был ещё способен стоять в строю, свели в отдельный батальон. Сводный батальон насчитывал человек двести пятьдесят—триста. Командовал нами майор Бойченко. Я его знал ещё по службе в Бессарабии. Когда мы входили в прорыв и зимой, в окружении, он был в нашем полку помощником начальника штаба по разведке. А комиссаром в батальон назначили Глушко.

Глушко тогда вышел, прошёл всю войну. Я с ним потом встретился. Мы долгое время переписывались. Жил он во Владикавказе. Может, и теперь жив. Но писем от него я что-то давно не получал.

Нас построили. Зачитали приказ: идём в опасное место, в пути не разговаривать, командирам подразделений команды отдавать вполголоса, идти след в след, на привалах костров не разводить, сучья не заламывать, соблюдать все меры предосторожности. За невыполнение приказа — расстрел на месте.

Меня, сержанта, назначили командиром взвода. Лейтенантов уже не хватало.

Шли ночью. Днём остановились. Отдыхали.

Вечером поднимают нас, опять строят. Выходит майор Бойченко. Снова зачитывает вчерашний приказ. Зачитал и говорит: “Ведите сюда первого!” Выводят здорового такого парня. Майор говорит: “Вот этот человек назвался лейтенантом Красной армии. Документов у него нет. Мы ему поверили. А сегодня, вопреки моему приказу, на привале он разжёл костёр. За нарушение приказа приговариваю его к высшей мере. Приговор в исполнение привожу сам”.

А ходил всегда майор Бойченко с тремя пистолетами: на правом боку маузер, на левом, на ремне, в кобуре — ТТ, а под ремнём на животе — револьвер. Револьвер торчал так, без кобуры.

Вытаскивает он из-за ремня свой наган, приставил к затылку лейтенанту, или кто он там был. Выстрелил. Тот упал.

Когда стреляют в затылок, тело падает не вперёд и не назад, а — вниз, мешком.

“Давайте другого!” Тут же выводят другого. Глянул я: а это же парень из нашего полка! Я его ещё до войны знал. В Бессарабии вместе служили. “А этот уснул на посту”. Тот успел крикнуть: “Товарищ майор, я не спал! Я только сел на дерево!” — “А если сел, то это всё равно что спал! А что

значит — уснуть на посту? Когда спит батальон, а часовой уснул на посту, достаточно двух немцев с шомполами, и через полчаса батальона нет! В одно ухо сунул шомпол, в другое он сам вылезет. Человек во сне и не охнет...”

Командир батальона говорил правду: были случаи, когда целые взводы диверсанты уничтожали шомполами. Спящего — в ухо, как поросёнка. Сразу — готов! Шомпола они брали от наших, мосинских винтовок, потому что их шомпола были на цепочке.

И вот повернули того парня. Майор Бойченко поднял руку с наганом. Я думал, не выстрелит. Бах! Выстрелил! И однополчанин мой повалился с пробитым затылком...

Жизнь на войне страшная. И до этого видел я расстрелы. Но такого страшного — никогда.

Вскоре мы вышли на поляну. Это был аэродром. Нам было приказано его охранять.

Самолёты прилетали и улетали. Земля уже подсохла. Самолёты садились удачно. Небольшие, фанерные “кукурузники”. Забирали офицеров штаба. Самолёт мог забрать только троих человек. Одного пилот сажал в кабине впереди себя, а ещё двоих — в гондолы под крыльями.

— Ещё зимой, когда мы вошли в прорыв, ночами к нам в помощь начали высаживать десант. Мы потом вместе с ними шли на Вязьму. Там уже всюду бились дивизии генерала Ефремова. Прыгали они с парашютами прямо в лес. Как попало. Приземлялись — кому как повезёт.

Однажды я еду на своём коне. Ночь морозная. Звёзды. И вдруг мой конь захрапел, стал вскидывать морду. Я сразу понял, что рядом где-то или зверь, или человек. Взял автомат на изготовку. И тут прямо из-под ног коня выходит человек в белом маскировочном обмундировании. Говорит мне: “Ты не видел таких, как я?” — “Нет, — говорю, — не видел”. Он рассказал, что, пока пристёгивал лыжи, товарищи его ушли и теперь, видимо, уже далеко. “А ты куда едешь?” Я ему говорю: “К себе, в полк”. — “Возьми меня с собой”. — “Садись, — говорю, — сзади седла”.

Сел. Лыжи и винтовку в руки взял. Едем. Я ему и говорю: “Давно из Москвы?” — “В восемь часов вечера вылетели”. — “У тебя, — говорю, — наверное, и закурить есть?” — “Закурить, — говорит, — есть”. — “Вот хорошо! Давай закурим! А конь нас до места доведёт”.

Закурили. Папиросы — московские. Мы в окружении давно таких не курили. Я его довёз до штаба полка. Простились. И больше я его не встречал.

С десантниками мы в ту зиму воевали бок о бок. Одну судьбу делили. И голодали вместе. И вместе пытались выходить потом. Кто вышел, а кто...

— В Ельне, в лагере, я свои сапоги обменял на пайку хлеба. Голод был страшнее смерти. Когда поживёшь два месяца на траве и коре, да на горсти пшеницы, то кусок хлеба покажется дорожке всего на свете.

В лагере было много партизан. У них была припасена еда. Им и приносили. Они же местные.

Прошло несколько дней. Нас собрали, повели. На Починок. Ночью прошёл дождь. Раны мои сковало. Утром надо вставать, идти, а я не могу подняться. Подбежал немец из конвоя, поднял меня за воротник рубахи и ударил сапогом. Я ему и говорю: “Ты, варвар!.. Попался же ты мне месяца два назад!..” Я-то думал — ничего не поймёт. А рядом оказался переводчик, перевел тому, что я сказал. Эх, как он обозлился! Побледнел, покраснел, опять подлетает ко мне и кричит: “Ты — варвар! Ты — варвар! Ваша Россия — варварская страна!” Я засмеялся. И они меня наказали таким образом: всех раненых усадили на телеги, а меня поставили в колонну. Я шёл пешком. Ребята меня поддерживали, не бросали. Мне один: “Ты, комиссар, с ними не спорь. А поставят к берёзке, и вся недолга...” “Да я, — говорю, — не комиссар. Я такой же, как и ты”. Тут мне подали палку. Я пошёл, опираясь на палку. Другой рукой держусь за телегу. А немец, тот самый, подлетел и — по руке мне прикладом. В телеге сидит бывший повар из партизанского отряда. Нога у него забинтована. Раненый. Я с ним в лагере познакомился, сдружил-

ся. Он мне и подал руку в дороге. Ладно, думаю. Ковыляю себе дальше. И чуть погода Вася опять мне руку подал. Так, держась за телегу, мне идти всё же значительно легче. Немец заметил и опять подбежал. Вырвал у меня из рук палку и стал той палкой лупить и меня, и партизана. И тут кто-то из ребят и говорит: “Вась, дай ты ему! За что он тебя бьёт?!” И Вася махнул ему разок. Парень был крепкий. В партизанском отряде всегда возле котла. Силёнку ещё не растерял. Немец так и смегнул в кювет. Даже винтовка в сторону отлетела. Немцы закричали. Вася бросился в гущу колонны. Где его там найдёшь? Колонну остановили. Вышел переводчик, объявил: “Если не выдадите того, кто ударил германского солдата, каждый десятый будет расстрелян”.

Никто Васю не выдал. Немцы бегают, высматривают. А мы стоим, молчим. Постояли, постояли да и пошли дальше. Это был уже не сорок первый год, когда они с нашими пленными делали что хотели. Немцы к тому времени тоже уже в плен стали попадать. И побаивались, что и их будут истреблять.

Я, без палки, иду кое-как. Ослаб совсем, повалился. Подходит немец. Не тот, другой. Подошёл, кольнул в бок штыком: “Штей!” Лежу я на обочине, ни встать, ни идти уже сил нет. Я уже и смирился: пускай убивают, чем так мучиться. Всё равно не дойду. Немец кляпал-кляпал надо мной затвором, и штык к виску прикладывал, а выстрелить всё же не выстрелил. Остановил подводу. Меня и бросили в ту подводу и повезли. Лежу я в подводе и думаю, как во сне: “Это ж что, я опять живой остался...”

— Окружённые в 1942 году под Вязьмой беловцы выходили через позиции нашей дивизии. Выходили они в районе Анновки и Верхней Песочни.

Встретился мне один капитан. Верхом на коне. Конь отощавший. А я тоже верхом. Капитан посмотрел на моего коня и говорит: “Лейтенант, давай махнём не глядя. У тебя конёк не очень, а мой — всем коням конь. Боюсь, погублю я его. Он меня несколько раз от смерти спасал. Ты его покорми хорошенько с неделю-другую и не узнаешь! Конь, правду говорю, хороший! Мне его жалко. Попадёт в чужие руки... А тебе — воевать. Вот посмотришь, не раз меня добрым словом помянешь”.

Поменялись мы с капитаном конями. И правда, вскоре залоснился мой конь, повеселел. Послушный был, умный. А как он мне помогал! Для связи-ста ведь конь на фронте — первый помощник и самый надёжный напарник. Таких коней я потом никогда не видел. Не обманул меня капитан.

— Самыми ненадёжными на фронте были казахи. Если их один-два во взводе, то ничего, воевали как все. А если их целый взвод — беда. Их частенько обыскивали и в карманах всегда находили немецкие листовки: переходите к нам, у нас хорошие условия, настоящая листовка является пропуском...

Узбеки воевали храбро. Туркмены тоже. Татары хорошо воевали. Башкиры — отчаянные ребята, стойкие. И мордва были надёжными солдатами. А вот киргизы тоже не очень...

Всех национальностей у нас солдаты были.

— Из окружения я вышел. В неразберихе я прибился к одному из полков 329-й дивизии. Дивизию немцы разрезали пополам. Полк, с которым выходил я, оказался в окружении. Рядом с нами был ещё один полк. Таких, как я, приставших к чужому полку, оказалось человек пять.

Полк стал пробиваться на Захарово. Лезли напролом. И так дней восемнадцать. В тех атаках потеряли почти весь личный состав. Вскоре поднялась сильная метель. Не метель, а прямо пурга. Эта-то непогодь, наверное, и спасла жизнь и мне, и всем оставшимся от полка.

Оказывается, немцы хорошо знали не только то, куда мы шли, а и то, куда собирались пробиваться. Командиры полков пренебрегали шифровкой и вели переговоры открытым текстом.

В Замыщком к тому времени от двух полков, не считая нас, приставших к ним, оставалось около семидесяти человек. Собрались, стали решать. Кто-то сказал: “Ещё одна попытка пройти, и побьют последних”. И вдруг командир

полка говорит: “Ждём до вечера. Проверьте, у всех ли есть лыжи. И чтобы ни у кого не было ничего демаскирующего. Все должны быть в белом. Ищите, где хотите. Снимайте с убитых. Маршрут такой: вдоль речки Жижалы до впадения её в Угру. Там переправимся через Угру и дальше пойдём правым берегом. Разведка пойдёт впереди”.

Пурга, к счастью, не утихла, а разыгрывалась ещё сильнее. Вечером пошли.

У комполка была карта.

Идём. Темень. Снег лепит. Вытянутых рук не видать. Вскоре по цепи, шёпотом, приказ: поворачиваем на восток. Немцев нигде не встретили. И вообще было такое ощущение, среди этой пурги, что никакой войны кругом нет. Немцы, видимо, сидели тем временем в своих тёплых блиндажах и дзотах, грелись, переживали ненастье.

Подшли к Угре. Снова приказ по цепи: соблюдать особую осторожность. Угру немцы простреливали вслепую. Тут они и мышшь не пропускали. Но перешли мы и Угру. Ни окрика. Ни выстрела. Только ветер ревет, завывает.

А на другой стороне уже и наши.

Не упомяну теперь, кто нас встретил, то ли бойцы 33-й армии, из тех дивизий, которые остались держать фронт по Угре и Воре, то ли части 43-й. Там у них был стык.

Нас потом долго проверяли. Проверка шла месяца два. Тогда ещё с группой Ефремова существовала связь. О нас запрашивали туда, под Вязьму, в окружённую группировку. Видимо, информация пришла положительная.

— До июня 1942 года мы стояли под Ливнами. Недолго окапывались и отдыхали. Вскоре немец пошёл на нас. Мы в то время были ещё народ небстрелянный. Трудно нам было против него удержаться.

Я был командиром миномётного расчёта. Миномёт калибра восемьдесят два миллиметра. Под моим управлением пятнадцать человек. Целое войско! Миномёт таскали на себе: и плиту, и треногу, и ствол, и боекомплект. Каждая мина — побольше трёх килограммов! А плита и вовсе тридцать шесть килограммов! Не шутка.

Связи у нас тогда не было. Это потом всё появилось.

А было вот что... Вечером легли на отдых. А в третьем часу утра — летом ночи короткие — подняли нас по тревоге. Вскочили мы — и к миномётам. А немец уже вплотную подошёл.

Вначале была неразбериха. Пришлось вначале растеряться немного. А потом — бились. Бились как могли. К вечеру у меня в расчёте осталось только трое бойцов. А в минроте — всего два ствола. Из офицеров — командир роты и ещё один командир взвода.

В миномётной роте полного состава примерно около шестидесяти человек и четыре ствола. А тут нас осталось человек десять.

Побежали. Пришлось и побежать. Бежали мы лихо. Бежим. А навстречу какой-то генерал на легковой машине. Выскочил из машины, трясёт пистолетом, кричит: “Так-то вашу!.. Куда?! Назад!” И тут в его машину — прямое попадание снаряда. Шофёра убило, машина искорёжена. Генерал уже пожилой, грузный такой, с животом. А нам — по двадцать лет. И, веришь-нет, он так бежал, что мы за ним едва угнались...

Где-то потом остановились. Генерал нам в глаза не смотрит. Весь пистолет в глине. А мы миномёты не побросали. Всю матчасть вынесли. Так что и генералы бегали.

Получили пополнение. И снова — в бой.

Миномётчики у меня в расчёте были хорошие. Стреляли умело. Миномёт на войне — штука хорошая. Если в умелых руках. Чуть где пехота застреляла, смотрим, ага, пулемёт бьёт, не даёт славянам продвигаться. Пару пристрелочных и — полный залп. Пошла пехота. Пулемёт молчит.

— Под той же Зайцевой горой, где-то возле Фомино, есть лесок. Так, небольшая совсем рощица. На карте она имела форму берёзового листа. И росли там одни берёзы. Местные жители называли её рощей Сердце.

Из рощи немцев выбили не мы. Здорово их там потрепали. Мы сменили батальон, дравшийся за эту рощу. Сменили мы их и тут же попали под немецкую контратаку. А дело было так...

Заняли мы позиции рано утром, ещё и не рассвело как следует. Немцы, видимо, не заметили, что произошло в окопах, только что ими оставленных. И уже в полдень начали сильный миномётный обстрел. Лупят и лупят по нашим траншеям, по НП. Головы не высунуть. На это они и рассчитывали. Их пехота тем временем подползла и кинулась на нас. В некоторых местах ворвались в траншею. Началась рукопашная.

Мы, связисты, должны были постоянно поддерживать связь с ротами. Я находился на НП первой роты шагах в пятидесяти от первой траншеи. Там, впереди, поднялась такая стрельба, такой гвалт, крики, стоны, что и не понятно было, что там вообще происходит. Соединяюсь по телефону с соседней ротой. Связист-сосед по фамилии Заика кричит: “Я тоже один. Командиры ушли в траншею. Кругом немцы. Что делать, не знаю”.

Ага, думаю, значит, и у них то же самое. Всё перепуталось. Наши ушли вперёд, а немцы прорвались сюда. Кто кого окружил, не понятно. “Держи связь, Заика, — говорю я соседу. — Наше дело — связь”.

И вдруг связь прервалась. Обрыв. Я забеспокоился. Мои товарищи в траншее насмерть бьются, а я тут связь не могу обеспечить. Сейчас, думаю, придёт командир роты и скажет: “Что ж ты, Антипов...” Я выскочил из блиндажа, побежал. Пули так и вжикают, землю кругом долбят. Недалеко я пробежал, вижу, вот он, обрыв. Зачистил кончики провода, соединил. И тут слышу: где-то совсем рядом бьёт пулемёт. По звуку вроде не наш. Огляделся: на блиндаже НП соседней роты залегли двое немцев и ведут огонь из ручного МГ. Стреляют не в глубину нашей обороны, а вдоль траншеи и в сторону нейтральной полосы. Бой шёл уже там, и они, считай, стреляли в спину нашим и по флангам. Самый опасный огонь. Я потянулся за автоматом, но вдруг вспомнил, что впопыхах оставил его в блиндаже.

Пополз за автоматом. Ползу и думаю: Заика убили, вот почему он не вышел на обрыв.

Приполз на свой НП. Так и есть: автомат мой лежит возле телефонного аппарата. Перезарядил полный диск. Но, прежде чем ползти назад, к НП соседней роты, решил проверить, действует ли связь. Ушам своим не поверил: Заика ответил! “Заика! — кричу ему. — На твоём блиндаже немцы сидят!” — “Слышу, — отвечает, — из пулемёта лупят”. — “Сейчас я подползу и дам очередь из автомата”. — “Давай, — говорит, — отвлеку их. А я попробую выползти и гранату кинуть. У меня граната есть. В руке её держу — на всякий случай”.

Но в это время земля вздрогнула, воздух над рощей раскололся и всё поплыло. Гул, скрежет. Ударил наша тяжёлая артиллерия. Кто-то из офицеров батальона вызвал огонь на себя. Дым удушливый, едкий, заполняет всюду. И вскоре в блиндаже стало нечем дышать.

И вдруг всё стихло. Только изредка, в отдалении, постукивали пулемёты. Так ночью стреляют на передовой дежурные, для острстки. Да возле нашей траншеи стонали раненые.

Чуть погода в землянку ввалился командир роты. Вид у него был такой: немецкий автомат на шее, свой ТТ без кобуры, заткнул прямо под ремень, на животе, лицо чёрное от пота и грязного пота. Отдышался, хлебнул воды из котелка, сплюнул её: “Что у тебя за вода? Кровью пахнет”. Какой ещё, думаю, кровью? Недавно пил — вода как вода. А глаза у него так и бегают. Никогда его таким не видел. Выругался и спросил: “Связь есть?” — “Так точно, — отвечаю, — есть связь!”

Вечером собрались командиры взводов, стали подсчитывать потери и трофеи. Немцев возле нашей траншеи и на нейтральной полосе оказалось мало. Они, уходя, своих утаскивали. И раненых, и мёртвых. Мы же потеряли многих. Кое-кого немцы увели в плен.

Назавтра в репродуктор с той стороны наши пленные стали кричать: “Петь! Переходи к нам! Сдавайся и переходи! Нас тут покормили! Завтра в тыл пойдём работать! Переходи! Хватит воевать! Навоевались!”

По репродукторам, на звук, били наши миномёты. Но попадали редко, потому что немцы ловко их маскировали.

— В сентябре 1941 года из своей родной деревни Подберезье, что под Мосальском, я попал в Мордовию. Гонял колхозный скот. Стадо коров, голов девяносто, и немного овец. А погонщиков нас было шесть человек: три девчонки, двое парней и старик. Когда вернулись, немцев из нашей деревни уже прогнали. Возвращались мы на родину по следам наступающих наших частей.

3 марта 1942 года меня призвали в армию. Мой отец был председателем колхоза, и меня он, видимо, пожалел, посылая в эвакуацию со стадом. Но на фронт я всё же попал. И очень скоро.

Призывали нас полевые военкоматы.

Переодели, немного позанимались и — на фронт. Тут, недалеко, в Мосальский район. На родину. Фронт стоял в нашем районе. И там меня сразу ранило. Первое ранение.

Мы к тому времени немного продвинулись и держали оборону. Под деревней Алфимово. Слыхали про такую? Это уже ближе к Барятину. 1094-й стрелковый полк 325-й стрелковой дивизии 50-й армии.

Ранило меня 29 августа. Многие я уже забыл, что как было. В то время я был уже младшим сержантом. Ранило тяжело. В госпитале я пролежал шесть месяцев. В городе Сарапуле, в Удмуртии.

А как было...

Утро. Мы сидим в своих окопах. В обороне. И вдруг — немцы! Они шли прямо на нас. То ли разведка боем, то ли наступление. Не понять. Шли без артподготовки. Я лежал со своей винтовкой. Немцы шли быстро, с гвалтом. Лейтенант наш видит, что дело плохо, что так, из окопов, не отобьёмся, и поднял нас в контратаку. Я поднялся, сделал несколько шагов вперёд, и тут меня ударило. В грудь. Пуля. А вышла в бок.

Из боя меня выносили. Когда пуля попала в меня, я повалился и сразу потерял сознание. Я не помню даже, как и повалился. А через три дня я был уже в госпитале в Сарапуле. Вот как заботились о раненых! Всё было налажено.

После лечения, там же, в Сарапуле, я был зачислен в Смоленское пехотное училище. Училище эвакуировалось из Смоленска. Сам-то Смоленск всё ещё находился под немцем. Недолго я там проучился. Опять — на фронт. На этот раз — под Спас-Деменск.

Сперва прибыли в Калугу. А от Калуги маршем двинулись под Спас-Деменск. Шли ночами. Три ночи шли. Быстро. Спешили.

С ходу вступили в бой. И провоевал я там, под Спас-Деменском, три дня. Опять ранило. В руку. Навылет. Пулей. Во время атаки. В атаке ведь как... Вперёд! Поднялись, побежали. Бежим все. Кричим тоже все. А там уж — кого пуля найдёт. Кому какая судьба.

Каждый раз меня убивало, и каждый раз казалось, что вот сейчас убьёт до смерти, а всё же судьба берегла. Рана тяжёлая, но — живой.

Война в пехоте... Что в пехоте увидишь? Что вспоминать? Вся война — в окопе, в поле. Когда немец отступает, мы видим его спины. Когда наступает, некогда его разглядывать, успевай стреляй, чтобы он тебя не прихватил. А то ведь всякое бывало...

Народ тоже всякий на фронте попадался. Однажды, в Венгрии уже, стояли мы в обороне. И старшина застрелил солдата. Что-то тот у него упёр. А старшина его и прихватил. Но стрелять-то — зачем? Человек же! Свой! Виноват? Так пускай бы его судили и отдали в штрафную роту. Но убивать... И тогда мы с другим сержантом отвели того старшину за дворы и хотели тоже... Так он в ногах у нас валялся, прощение просил.

За всю войну, за все мои муки, страдания и победы награждён я одной-единственной медалью — “За отвагу”. В пехоте больше не давали.

Вручил мне её начальник штаба батальона капитан Ионов. Во, ёлки зелёные! Фамилию начштаба вспомнил! А думал, что навсегда уже забыл...

Пришёл он к землянке: “Мордасов! Ко мне!” Я вышел. Думаю: что та-

кое? Вроде ни в чём таком, плохом, не участвовал. А он: “Вручаю тебе боевую награду — медаль “За отвагу!” — “Спасибо”, — говорю.

Вот так я и получил медаль. Было это в августе 1944 года.

— Был у меня немецкий автомат. Трофей. Модно тогда было щеголять с немецким оружием. А достался мне тот автомат вот как...

Стояли мы тогда уже подо Ржевом. Из-под Сухиничей нас перебросили севернее. Полк пополнили и — туда.

Какое-то время, как всегда, стояли во втором эшелоне. Потом перебросили в первый. И сразу — на Вазузу, на тот берег. Переправились, помню, ночью. Идём. Батальон углубился в лес. Мы, связисты, разматываем катушки. За лесом показалось поле. За полем какая-то деревенька. Остановились. Новый приказ: окопаться в полный профиль на случай танковой атаки.

Танковая атака — дело серьёзное. Начали спешно закапываться в землю. И усталости не чувствовали.

Пока было непонятно, где немцы. Из деревни они ушли сразу, как только увидели нашу колонну. Побросали всё, даже кухню свою забыли. И вдруг по цепи: тихо сняться и уходить. Ещё не рассвело. Возвращались по проводу. К утру вышли на опушку, подзаправились трофейными галетами и консервами. Уснули как убитые.

Утром наладили связь. Немцы из миномётов постреливают. Время от времени бомбят переправу через Вазузу. Ни боеприпасов нам, на этот берег, ни продовольствия почти не поступало. Так основательно немцы опекали переправу.

Выставили мы боевое охранение. Отделение пехоты. Наш командир взвода и один связист ушли с боевым охранением к опушке леса. Время от времени я выходил с ними на связь и тут же докладывал начальству: всё спокойно. И вдруг утром, чуть только рассвело, пропала связь с группой боевого охранения. Беру автомат и иду “по нитке”.

Шёл через лесок. Вскоре обрыв нашёл. Видимо, думаю, осколком перебило. Быстро зачистил, соединил. Только пошёл назад, прямо над головой — автоматная очередь. Я залёг, лежу. Тишина. А может, думаю, случайная очередь? Приподнялся, стал оглядываться, и тут пули ударили у самых ног. А когда я падал, успел приметить впереди неглубокую впадинку. Вроде как старая воронка. Пополз к ней. Тот, кто держал меня на мушке, сразу понял мой манёвр и открыл частую стрельбу короткими очередями. Пули буквально из-под рук и ног вырывали землю, но — удивительное дело! — ни одна из них меня не задела даже. Видимо, стрелок был так себе. Однако пролежал я под его присмотром долго. Ладно, лежу. А у нас, у связистов, правило было такое: если связь нарушена, на повреждение должны выходить с обеих сторон. Гляжу, с той стороны бежит Григорьев, связист наш из боевого охранения. Я уже хотел было окликнуть его, но тут, боковым зрением, увидел, как в перелеске справа кто-то перебежал, и тут же оттуда послышалось: “Хенде хох!” Я сразу и секанул туда очередью, так половину диска и выпустил. Григорьев, гляжу, тоже залёг, только одна винтовка его с примкнутым штыком виднеется. Вылезает из кустов немец с поднятыми руками. Я не успел встать, а Григорьев его уже в живот штыком тычет. “Погоди, Григорьев! — кричу. — Надо его в штаб доставить”.

Привели, а ротный нас и спрашивает: “А где же его оружие?” — “Не было, — отвечаем, — при нём оружия. Вот, одна граната была”. Ротный недоверчиво посмотрел на нас. Будто мы его в нужнике поймали, этого немца... А сами думаем: а ведь и не заглянули в кусты, не поискали около. Заспешили со своим трофеем в штаб. Автомат-то немец где-то там бросил.

Отпустил нас ротный. Я тогда Григорьеву и говорю: “Будешь возвращаться, посмотри в кустах, поищи автомат. В меня-то он из автомата пулял. Так что автомат где-то там лежит”.

Вечером встречаемся. Снимает с плеча немецкий автомат с полным рожком и протягивает мне: “На, — говорит, — это твой. А другой у меня взводный отнял. Увидел два, дай, говорит, один”. — “Как два?” — “Так. Там, в кустах, немец убитый валялся. С автоматом. Ты его, видимо, очередью уложил”.

— Окружение — это, брат ты мой, особая война.

В сорок третьем я попал последний раз в окружение.

Он нас обошёл. Мы думали, что удержимся на своих позициях, а соседи подойдут, выручат. А он всерьёз за нас взялся. И через несколько дней нас в том “котле” всё же дожал.

Прорвались, помню, немцы, бегут. Вот уже на нашу батарею ворвались. Пехоту смяли. Я пистолет выхватил, одного повалил.

Как я убежал оттуда, не помню. Миномёт мы оставили. Прицел только остался у меня. Я не помню, как и снимал его. Машинально.

Огонь был такой мощный, что кругом за несколько минут были буквально срезаны кусты и небольшие деревца. Лесок наш постригли, как английский газон. Кто встал, побежал, того сразу — наповал.

Я переждал стрельбу. Когда чуть поутихло, побежал. Впереди наша пушка стреляет прямой наводкой. По танкам. Они танки пустили. Бегу, а немецкие трассирующие пули обгоняют меня. Бегу и думаю: вот какая-нибудь сейчас и меня смахнёт. Но добежал.

Тут подошли наши танки. Ударили. Помню, как вышла наша “тридцатьчетвёрка”. Остановилась. Стволом повела. Шлёп! — и немецкий танк сразу загорелся. Налетели немецкие самолёты. Бомба упала возле нашего танка, и башню с него так и сорвало.

Полежали мы в лесочке, образумились. Пришёл откуда-то лейтенант, стал поднимать нас в контратаку. Так я и в пехоту попал. А ничего, отбились.

— Лето сорок третьего было жарким.

Наш 686-й артполк двигался по направлению к Болхову.

Впервые я здесь увидел наши самоходные артиллерийские установки. Танк не танк, пушка не пушка... А маневрирует и стреляет ловко.

На подступах к Болхову целиком погиб наш взвод управления.

Полк вошёл в какую-то деревню. Немцев оттуда только что выбили. Мы с радистом Барковым пошли разыскивать свой взвод.

Ребята, оказывается, расположились в ровике под огромной ракитой. Ровик тот остался от немцев. Видимо, в нём стояла машина или тягач. Поговорили мы с командиром взвода и пошли вниз, к речке. Хотелось пить. Да и умыть лицо надо после пыльной дороги. Пот, жара. И только мы гимнастёрки растегнули, на горке ухнуло, листья с ракит посыпались. Побежали мы к ребятам нашим. А там такое месиво, что и глядеть страшно. Кто убит наповал, кто тяжело ранен, кто в агонии бьётся, стонет. В бою таких потерь не несли. Вызвали мы с Барковым по рации санинструктора и начали перевязывать тех, кто ещё подавал признаки жизни.

Наши батареи начали бить по ржаному полю, откуда прилетел фугас. Рожь загорелась. Немцы ответили. Тогда наши развернули ещё несколько орудий. Немцы ударили из миномётов. Я только запомнил, как ухнули первые мины. Мы с Барковым побежали в ложину. Земля подо мною вдруг вздыбилась, в лицо и в грудь ударило горячим. Опрокинуло, куда-то поволокло. Я вскочил и побежал дальше. Так и не понял, что это было: то ли мина под ногами взорвалась, то ли я в свежую воронку упал. А может, то и другое сразу. Но остался я невредимым.

Пехота пошла прочёсывать ржаное поле. И тут, во ржи, поймали двоих власовцев. Одеты они были в немецкую форму, но нашивки имели особые. Ох, как их гнали ребята, как волокли! Прикладами! Воспитками! И штыками в задницу подкалывали! Никто их не пожалел. И командиры молчали. С пленными немцами в сорок третьем такого уже не позволяли. Не знаю, довели они их до штаба или нет.

Перед Болховом полк остановился. Начали закапывать орудия. Два дивизиона поставили на прямую наводку. Задача была — ударить по окраине города, где закрепился противник, где работали его пулемёты и где должны были размещаться миномётные батареи. Но снаряды полк имел только бронбойные. Ждали танковой атаки, к ней и готовились. А тылы наши отстали.

Заняли мы немецкую траншею. Закопали орудия. Поделили сухари. Кухня тоже где-то отстала.

Болхов горит. Или немцы жгут. Непонятно. Пехота снялась и переместилась куда-то вперёд, левее.

Налетели “юнкерсы”. Но не бомбили. Несколько раз заходили, но то ли не заметили наших орудий, то ли другую цель искали, а только ни одной бомбы не сбросили. Погода разгрузилась возле речки. Что они там бомбили, не знаю. Может, просто сбросили бомбы, чтобы назад гружёными не лететь, а может, кого-нибудь из наших на броду всё же прихватили. Улетели. А искали они, видимо, нашу танковую бригаду. Танки были тщательно замаскированы под снопами ржи в поле.

Вскоре к нам в траншею приполз повар. Мы его в шутку звали Вассером. Пожилой дядька. Приволок термос со спиртом. “А где же суп?” — спросил его командир взвода. “Там, в поле остался”, — сказал Вассер. Оказывается, напарника его убило. А термос с супом нёс напарник.

Взводный разозлился. Спирт приказал вылить на землю. Помолчали мы, погоревали молча, но, что поделаешь, приказы командиров не обсуждают.

И тут во ржи объявилась немецкая самоходка. Она начала стрелять по нашим позициям. Высунется, ударит и — назад. Мы не успеваем её засечь! Подвижная, маневренная, осторожная. Ударит и уйдёт. То одно наше орудие кверху колёсами, то другое.

Я включил рацию, настроился на их волну. Слышу, немцы совсем рядом переговариваются. Но обнаружить самоходку невозможно. Батареи начали бить велепую. Но только хуже сделали: полностью обнаружили себя. Она, собака, нам девять орудий из двенадцати изуродовала. Два дивизиона — почти целиком! Это те, которые мы выкатили на прямую наводку.

Вскоре загудели под снопами наши танки. Видимо, получили приказ — вперёд. Пошли мимо наши позиций к городу. И тут наблюдатели заметили, что на окраину города немцы срочно перебросили около тридцати грузовиков с пехотой. Мы за ними наблюдаем в бинокли: куда же они дальше поедут? А из штаба полка, как потом выяснилось, за немецкими грузовиками с пехотой тоже наблюдали. Машины вскоре скрылись за холмом. Прошло несколько минут — и вдруг немецкие цепи появились прямо перед позициями нашего артполка.

Самоходка всё била и била. И зажгла один танк прямо возле крайнего орудия. Танкисты выскочили, вытащили пулемёт, установили его в ячейке и начали стрелять по немецкой пехоте.

А те валят и валят густыми цепями. Волна за волной. Много, не меньше полка. Не бегут — идут. Не стреляют. Подошли совсем близко, видны даже пуговицы на мундирах.

Я связь со штабом полка наладил. Командир кричит им туда: “Давай огня по высоте! Быстрее!” — И выругался.

И вдруг впереди, где шли немецкие цепи, всё загудело, затряслось. “Катюши” сыграли. И накрыли всю высоту. Один только снаряд не долетел, упал позади нашей траншеи. Мы все прижались к земле, потому что было такое ощущение, что снаряды реактивных установок накрыли и нас. Был произведён всего лишь один залп. По времени — это несколько секунд. Наступила тишина. Только слышно было, как трава и земля горели впереди. Ни крика, ни стопа, ни единого движения на высоте, как будто там и не было ничего живого.

Вот так закончился тот бой.

Мы встали со дна траншеи, отряхнули с гимнастёрок землю. И тут пошёл проливной дождь. Промокла даже рация. Я попробовал включить её — бьёт.

Вечером за пушками пришли тягачи. Уволокли на ремонт и подбитые орудия.

Болхов был взят в тот же день.

Через несколько дней мне вручили первую боевую награду — медаль “За боевые заслуги”.

Вскоре мы узнали, что освобождён Орёл.

— Летом наш танковый батальон был направлен за Дон, в район Калача. И там нас атаковали немецкие танки. Шли шахматным порядком. Лави-

ной. Мы приняли бой. Подбили несколько танков и — уходить. На переправе через Дон скопление войск. Паника. Кое-как, уже под обстрелом, переправились на другой берег. Пошли. На дорогах полно войск. Всё перемешалось. Однажды я прилёг отдохнуть. Ночи летом короткие. У меня в роте был помпотех Семён Филатов, горьковчанин. Толкает меня: “Комроты! Немцы! Проснись, комроты!” Я на него — матом. А не спал уже несколько суток. Одурел. Ничего не соображаю. Какие там немцы? Мы же ушли от них ещё на Дону. Пришёл в себя, смотрю: мы идём в немецкой колонне, наша “тридцатьчетвёрка” и мы — бронемашина из разведбата. Немцы пока ничего не поняли. И тут началась стрельба. Один из наших танков открыл огонь и в считанные минуты подбил три немецких танка.

— На Дону близ Калача лесов нет. Чистое поле. Поле и поле. С редкими балочками. Колонна наша остановилась. Что-то впереди застопорилось, и все разом встали. И тут налетел “мессершмитт”. В бронемашине рядом со мною сидели старшина и водитель. Старшина высунулся из люка. В это время немец в очередной раз спикировал, дал длинную очередь, и пуля попала старшине в низ живота. Наповал. Механик-водитель спрятался под днищем. А я побежал в балку. Самолёт сделал разворот. Лётчик, видимо, меня заметил. Вот, смотрю, заходит вдоль балки прямо навстречу мне. Впереди, на дне балки, лежит котёл от походной кухни, и я спешу сунуться под эту бочку. Как будто она может спасти меня от крупнокалиберных пуль. “Мессершмитт” снизился до верхушек ковыля. Летит. И вдруг, слышу, пилот кричит: “Иван!” Я уже упал за котёл. Заработал пулемёт. Но немец всё же не рассчитал, промахнулся. Первые пули ударили в землю всего в нескольких сантиметрах от моих ног и дорожкой пошли дальше.

Промахнулся, сукин сын...

— Никому я раньше не рассказывал, как был в плену. Не хотелось об этом вспоминать. Но, что ж, раз начал... Сколько годов прошло... Меня поймёт только тот, кто сам побывал там. Тебе-то зачем это всё нужно? Чужие страдания... Ну, тогда ладно, слушай, как говорят у нас, да не перебивай.

На ночь нас закрыли в каком-то складе. Стены кирпичные, прочные. Из своего полка я никого не встретил. А из дивизии нашей там народ был. И красноармейцы, и командиры.

Утром — в эшелон. Везли несколько дней. Доехали до Славуты. В Славуте выгрузили и разместили в наших довоенных кавалерийских казармах. Вот точно не запомнил, как тот городок назывался. Славута или Славянск...

В дороге нас, конечно, не кормили. На станциях наши ребята, кто победовой, в дыры спускали на проволоке банки и просили прохожих или железнодорожников, чтобы налили воды. Жара. Мучила жажда. С ума сходили от жары жажды. Охранники всех, кто подходил к вагонам, отгоняли.

В Славуте, когда начали выгружать, только по несколько человек из каждого вагона вышли сами, на своих ногах, или нашли сил выползти. Остальных вытаскивали и складывали в кучи, как дрова. Трупы уже закоченели. Умирали и от ран, и от голода, и от жажды. Отступали — ни пищи, ни воды. В плен попали — то же самое.

Рана моя стала заживать. Ранение оказалось неопасным. Я выжил. Сказывалась и моя хорошая довоенная физическая подготовка.

В лагере в Славуте я попал в отдельную команду медработников. Руководил нами военврач Поппель. Он знал по-немецки и договорился с немцами, чтобы те позволили пленным медработникам хоть как-то присматривать за ранеными. И даже вот что мы делали: под охраной ездили в лес, нарезали еловых и сосновых лапок, заваривали их в котлах и этим отваром поили ослабленных наших пленных солдат.

Кормили нас баландой с добавлением гречки. Гречка была не очищена. Осталась она ещё от наших запасов. Когда из Славуты уходили наши войска, вывезти вороха гречки не успели, облили бензином и подожгли. Но она только сверху обгорела, а внизу вся осталась целой, только дымом пропахла и бензином. Вот нам, бедолагам, и сгодилась на прокорм.

У нас у всех были какие-нибудь посудины. У кого кружка, у кого банка, у кого котелок остался. Немцы, когда в плен брали, котелки не отнимали. Туда, в эти посудины, нам баланду и наливали.

Охраняли нас в концлагере в Славуте не только немцы, но и кубанские казаки. В картузах, в штанах с лампасами. С винтовками ходили вдоль проволоки. На вышках сидели немцы. Пулемётчики были немцы. А пешая охрана — казачки. Немцы нас не стреляли. Не помню такого случая, чтобы с вышки огонь открывали. А вот казаки в нас стреляли. Будто случая искали. И многих наших пленных красноармейцев убили именно казаки. Я напраслину не наговариваю. Говорю то, что видел и пережил. Подойдёт, бывало, пленный к проволоке и палочкой на конце начнёт доставать какую-нибудь травинку. Палочка не простая, с гвоздиком на конце. Голодали ведь! И травинке душа рада! Вот он, казак-охранник. Идёт. Винтовку с плеча сымает: “Отойди от проволоки! Стрелять буду!” Пленный ему: “Стреляй! Всё одно от голода подышать!” А сам не верит, что тот выстрелит. Но казаки выслуживались перед немцами: вот, дескать, какие мы надёжные охранники! Как исправно службу несём! Другой корить его начнёт, охранника: “Что ж ты, сукин сын! Немецкую винтовку взял. Шкура!” — да по матушке. Глядишь — бах! Поволокли всего в крови к яме.

Так что в Славуте нас охраняли и убивали не немцы, а казаки.

А тут другая беда: в лагере начался сыпной тиф. Вши. Завшивели все. Скопище народа. Никакой санитарии. И — пошло. Умирали десятками и сотнями.

Вскоре нас, кто пережил тиф, повезли в Германию.

Привезли в Говельдорф. Это — на границе Германии и Франции. Здесь, помню, произошёл такой случай. Погнали нас на работы. Копали какой-то ров или котлован. Смотрю, ребята заходили, зашумели. Охранник прибежал, а — поздно. Дело уже сделано: двое лежат с разрубленными головами. Так военнопленные расправлялись с провокаторами. Немцы засылали осведомителей. Те вынюхивали, доносили на командиров и руководителей. Мы хоть и пленные были, подневольные, но — не стадо баранов и рабов.

После этого случая раскидали нас по разным лагерям. Я попал в городок Торн на Висле. И там встретил своего довоенного друга. Тёзку, Васю Жижина. Мы с ним вместе заканчивали Серпуховское медучилище. Бывает же такое! Вася воевал с сорок первого года, с 22 июня. Первый бой принял на Буге. Родом он был из Тульской области, со станции Тарусской. После войны переехал в Пущино на Оке. Несколько лет тому назад умер. Я ездил хоронить его.

Вася меня сперва не узнал. У меня от продолжительного голода и истощения организма появились сильные отёки. Нажмёшь на мышцу — ямка остаётся. Белковые отёки. Мешки под глазами. Я уже доходил. От прежней силы и следа не осталось.

В Торне нас было человек восемьсот. Через два месяца осталось четыреста. Остальные умерли. Они нас попросту морили голодом и изнурительными работами. Организм не выдерживал.

А тут случай нам помог. По Дюнкерком немцы захватили английский десант. Пленных пригнали в Торн. Мы оборудовали для них лагерь. Мы, русские военнопленные, — рабочая скотина. Мы должны были работать и умирать. Каждый день — по несколько десятков. И — в яму! В яму! А пленные английские солдаты и офицеры играли тем временем в футбол. У них было хорошее питание. Они получали от Красного Креста продовольственные посылки: мясные и рыбные консервы, колбасу, печенье, кофе, конфеты, сахар, масло. Всё у них было. А некоторые из наших ребят, когда узнали об этом, от одной мысли сходили с ума. Потому что нас кормили баландой из брюквы. И воняла эта баланда, как моча кролика.

Я как-то после войны, году в пятидесятом, завёл было кроликов. С полгода подержал — нет, не могу! Как, бывало, подойду к клетке — баландой лагерной, брюквой пареной пахнет... Ужасом пахнет. Вывел. Клетки сжёг.

Англичанам немцы варили гороховый суп с мясом. Суп этот англичане не ели. Брезговали. Ну, с посылками от Международного Красного Креста,

конечно, можно было и побрезговать немецким варевом. Англичане нам отдавали свой суп. Но котёл с супом надо было ещё вынести из английской зоны в нашу. Не все охранники это позволяли делать. Были в охране и эс-совцы. В основном в лагерную охрану они попадали из госпиталей. Кто без глаза, кто без руки. На фронт их не брали, а в охране служили. Такие стреляли без предупреждения. Мстили нам, русским, за свои раны и увечья.

Немцы хоть и хозяева, а с куравом и у них было трудно. Англичане же в посылках регулярно получали хорошие сигареты. За сигареты охранники приносили нам гороховый суп. Или пропускали двоих-троих наших в английскую зону за котлом. Вот этот-то гороховый суп и снял белковые отёки, многим он спас жизнь. Мы жили. Так что спасибо англичанам! Это и был для нас — “второй фронт”.

Англичанам мы стирали бельё. Чинили им обувь. Шили тапочки. Так что не за здорово живёшь получали от них гороховый суп.

Немцы в лагере были разные. Были просто звери. Особенно бывшие фронтовики из СС. Бьёт, сволоочь, всем, что под руку попадётся. До смерти забивали. А другой, смотришь, посылку из дому получит, позовёт, оглянется и что-нибудь съестное даст. Угостит. Скажет: мол, из дому получил гостинцы. Начнёт о детях рассказывать, о своей фрау... Добрые люди и среди немцев были. Выгащит, бывало, фотокарточки, покажет свою семью.

Вскоре нас перевели в Грудзёндз, на Вислу. Разгружали мы там товарные вагоны с углём. Тут у нас с кормёжкой стало похуже. А работы — побольше. Но мы уже жить в плену научились. Шили тапочки. Шили и продавали. Охранникам или гражданским. А на эти деньги приобретали продукты.

Однажды в Грудзёндзе была облава. Что-то искали. Налетели автоматчики с собаками. Выхватили из колонны двоих наших. Они несли в барак несколько брикетов с углём. Уголь мы таскали, чтобы разжечь огонь, погреться и сварить что-нибудь. Так этих ребят, которых прихватили с брикетами, избили так, что мы их несли до барака. Они их били, а мы стояли и смотрели. Не заступись ж.

Работали и на продуктовых складах. На одном складе была мука. Тогда посылали тоже часто. Начальник склада, поляк, разрешал набирать с собою мучицы. У всех у нас под одеждой были привязаны небольшие сумочки, сшитые специально для этого дела.

Фронт приближался. Шёл уже сорок четвёртый год. От Вислы наш лагерь погнало на запад.

Шли пешими. В дороге нас не кормили. И вот идём полем. А у дороги — бурты свёклы. Смотришь, колонна зашевелилась, и — человек тридцать-сорок срываются и бегут к этому бурту. Немцы сразу начинают стрелять из винтовок. Как правило, никаких предупредительных — открывали огонь в бегущую толпу, на поражение. А мы, когда бежали к бурту и обратно, рассчитывали на то, что всех, конечно же, не перебьют. Уцелевшие в колонну приносили свёклу. Смотришь, вернулся цел, и три-четыре свёклицы в руках держит. А возле бурта три-четыре человека лежат...

У всех ножички. “Дай отрезать, пожевать”. Начинается делёжка. Потом, самое страшное, глядишь, понос открылся. Присядет пленный у дороги, а охранник уже стоит, ждёт. Колонна уходит. Охранник стволом винтовки толкает: долго, мол, сидишь, давай скорее... Ещё минуту-другую подождёт и, если не встал, прикладывает и из винтовки в упор...

Наша колонна по той дороге, видать, не первой прошла. И везде по обочинам лежали убитые наши военнопленные.

Однажды на ночлег остановились у бауера. Вечер опускался холодный, моросил дождь, и хозяин пустил нас в сарай. А в сарае были сложены снопы пшеницы. Как только нас закрыли, ребята эти снопы в руки и — пошла молотьба! Наелись пшеницы и кое-что в сумочки насыпали, в дорогу.

Последний этап моих мытарств и скитаний между жизнью и смертью в немецком плену был аэродром Эльгебек. И раз ночью на аэродром налетели английские бомбардировщики. Повесили на парашютах осветительные ракеты и пошли сыпать бомбы. Основной удар пришёлся на наши бараки. Видимо, англичане думали, что здесь расквартирован лётный состав. Погиб

и наш охранник, австриец Ешка. Хороший был человек. Много для нас добра сделал.

Меня волной отбросило и ударило о стену. Я потерял сознание.

Первая бомба попала в барак, где был Вася Жижин. Хорошо, что наши бараки по всему периметру были обложены огромными валунами. Валуны гасили ударную волну, задерживали осколки.

За одним из таких валунов лежал и я. Когда пришёл в себя, услышал крики и стоны. Кричал один наш товарищ, мордвин. Его завалило кирпичами рухнувшей печи. Я хотел было подняться, помочь ему, но тут меня ударило по спине балкой. У меня сразу отнялись ноги. Вася Жижин отыскал меня и вытащил из барака на улицу, положил под куст сирени.

Самолёты ещё не улетели, а военнопленные уже побежали на кухню, поискать что-нибудь поесть. Кухню тоже разбомбило. Голод страшнее бомбёжки.

Несколько дней у меня изо рта шла кровь. Мучила сильная жажда. Что-то внутри повредилось от удара.

Немцы своих раненых стали увозить в госпиталь в крытых фургонах. Последняя машина осталась пустой. И в неё погрузили несколько человек раненых из числа военнопленных. В эту группу попал и я. Хотя было страшно: брали самых тяжёлых, и мы боялись, что возиться с нами не станут, доведут до первого глубокого оврага и вывалят туда...

Но привезли в госпиталь. Смотрю, ходит медсестра. Немка. Совсем молоденькая. Я ей: “Медхен, их виль тринкен. Битте, медхен!” Она внимательно посмотрела на меня, ушла. И, смотрю, несёт стакан воды. Вот тебе и медхен... Пожалела доходягу русского... Да, брат ты мой, не все немцы звери были.

Нас перевели в интернациональный лазарет для военнопленных. Медработников в том лазарете почти не оказалось. Сами ухаживали друг за другом. Среди нас были русские, французы, поляки, югославы. Кормили нас баландой и давали по тонюсенькой пайке хлеба. Хлеб был не настоящий, выпечен с добавлением опилок. Когда, помню, ешь, на зубах их чувствуешь.

Вот так Бог меня и тут сохранил. В который раз за эти жуткие годы. Через много лет Вася Жижин мне рассказал вот какую историю...

Из Эльгебека нас, тяжелораненых, вывезли на машине. Остальных, кто мог передвигаться самостоятельно, построили и сказали: “Вы идёте в лазарет. Шагом марш!” Повели. Довели до ближайшего оврага. “Стой!” Выстроили вдоль оврага и постреляли. Их там было сто двадцать человек.

Вот тебе и судьба... А меня в это время немка водой поила...

Тем временем американцы и англичане стали нажимать с запада. И однажды мы узнали: немцы оставили Гамбург. А от Гамбурга до нас — девяносто километров! И мы уже знали, что дня через два союзники будут здесь.

И правда, вскоре немцы побежали. Уходили они успешно, к датской границе. Госпиталь охранял один немецкий солдат. Когда пришли англичане, он куда-то исчез.

К тому времени я уже поднялся на ноги. Мне ребята нашли подходящую палку, и я опирался на неё, как на костыль. Мы вышли посмотреть на англичан, какие они, наши освободители. Английские солдаты и офицеры ехали на машинах. Радостные, возбуждённые. Многие одеты в шорты.

К нам пришёл английский офицер. С ним кто-то из Красного Креста. И нам всем сразу раздали продуктовые посылки. Вначале — по одной коробке на двоих. А потом — каждому по коробке. Некоторые сразу навалились на еду, и несколько человек умерло. Я открыл пачку печенья, съел несколько штук и больше не стал.

Через несколько дней объявили: всем русским собраться в школе. Неподалёку стояло четырёхэтажное здание школы. Нас готовили к отправке в советскую оккупационную зону. Тут же через переводчика всем объявили: “Кто не желает переправляться в советскую оккупационную зону, может об этом заявить. Мы вам поможем”.

В советский сектор перевозили на грузовиках. Нас встретили военные в офицерской форме. Определили в барак. Происходило это в городке Штейн-

береге. Так мы попали в фильтрационный лагерь. Спали на нарах. Нары такие же, как и в немецком лагере. Кормили хорошо, выдавали полный солдатский паёк. И вот, по очереди, начали вызывать в специальное помещение. Спрашивали: где воевал? когда и при каких обстоятельствах попал в плен? Я всё хорошо помнил и назвал номер своей дивизии, полка, фамилии командиров, даты боёв и пленения. Ко мне особых вопросов и не было. Но вызывали несколько раз и спрашивали одно и то же. Каждый раз я вспоминал какие-нибудь новые подробности, но вскоре понял, что подробности их не интересовали. Всё запишут, я распишусь, и всё: “Идите”.

Некоторых, помню, уводили даже без проверки. Один с нами был, с аккордеоном... Где он взял этот аккордеон? Пришли, взяли, вывели и во дворе расстреляли.

Рядом со мною на нарах лежали полковник и младший лейтенант, оба из Ростова. Земляки. Полковник ночами не спал, всё вздыхал. В плен попал ещё в сорок первом, под Вязьмой. Раньше меня. Его часто вызывали. Но не уводили. Каждый раз возвращался. Младший лейтенант всё за него переживал. Виду не показывал, но я замечал, что волнуется за полковника. А сам он был лётчик. Истребитель.

Первую нашу колонну из фильтрационного лагеря к советской границе отправили пешком. Когда шли по Польше... шли-то усталые, голодные, мимо деревень, где полно продуктов. А поляки знаешь какие... Выйдут посмотреть, и вместо того чтобы кусок хлеба вынести, начнут насмешничать. Ну, и пошло... Главное — голод. Это надо понимать. А охрана — что? В своих же стрелять не будут. После того случая стали отправлять только поездами.

Отправили вскоре и наш эшелон. В Берлине на железнодорожной станции произошла такая история. Когда вышли из вагонов, увидели стоявший рядом вагон-цистерну. На цистерне трафарет — череп с костями. А ребят наших этим не остановишь, полезли разведать, что там. Почти пустая, но на самом дне что-то похожее на спирт. Надо ж знать нашего брата... Нахватали в котелки, во фляжки. Младший лейтенант, ростовчанин, принёс и нам с полковником. Я пить не стал: “Ты что, не видел, что там череп с костями нарисован? Немцы зря такой знак не поставят”. Он мне: “Не бойся! Вот, смотри, горит!” Плеснул этой жидкости в ложку, поднёс спичку. “Видишь? Всё в порядке! Не сомневайся!” Я всё равно пить не стал. А вот дружкой лейтенант, гвардеец, который тоже ехал с нами, выпил. Он был командиром стрелкового взвода. Попал в плен недавно. Ещё и форму не износил. В Германии на пересыльном пункте встретил свою сестру. Её немцы угнали на работы в Германию, на каторгу. Много нашей молодёжи там было. Также ехали назад эшелонами. Вот лейтенант-гвардеец и разыскал свою сестру. И вместе с нею ехал домой, в Россию.

И только мы отъехали от Берлина, он мне и говорит: “Что это у меня с брюками?” Я ему: “А что?” — “Да лампасы куда-то делись. Были лампасы, а теперь вот где они? Нету!” И щупает свои галифе. Я смотрю: лампасы — на месте. А это у него уже от выпитого началось... Галлюцинации. Тут и другим стало плохо.

Эшелон остановили на ближайшей станции. Человек пятьдесят сдали в госпиталь. Хорошо, там стояла наша воинская часть. А человек пятнадцать уже умерли. Умер и лейтенант-гвардеец. Вот так, ехал-ехал домой... И сестру нашёл... Выпил на радостях...

Привели нас в Вышний Волочёк. Снова — на нары. Снова — проверка. Вместе со мною ехал санинструктор. На Днепре в плен попал. Так ему “тройка” сразу зачитала указ: десять лет лагерей. Что уж там у него было, не знаю. Наши документы приехали в Вышний Волочёк раньше нас. А в плену, скажу я тебе, люди себя вели по-разному.

Кто прошёл проверку, мог выбирать: хочешь служить, присваивали звание и отправляли в часть, кто сильно ослаб, того отправляли домой.

Я поехал домой, в свою деревню Уваловку под Тарусой. Там жили мои родители.

В Тарусе меня однажды встретил уполномоченный НКВД Максимов: “Зайди. Поговорим”. Зашёл. Поговорили.

Я устроился на работу. В Тарусском районе после войны начался тиф. Специалистов по санитарному делу не хватало. А я всё же был санинструктором стрелковой роты. И хоть там, на фронте, в донской степи, у меня была работа другая, я таскал раненых с поля боя, но и в санитарном деле кое-что понимал. Да и в лагерях приходилось заниматься тифозными больными. Вот и пошёл я работать санитарным врачом. Так и остался в Тарусской санэпидемстанции, и проработал в ней сорок шесть лет!

— На фронте всё, бывало, меняли друг у друга. Кто трофейный “парабеллум” на портсигар, кто сапоги на валенки, а кто шило на мыло. Лишь бы поменяться. А вот когда мы из-под Вязьмы на прорыв пошли, тут патроны в цене поднялись. Боеприпасов-то у нас совсем мало осталось. Наша 33-я к тому времени уже больше двух месяцев в окружении была. Самолёты уже не прилетали — аэродромы распустило. Апрель! А прорываться предстояло с боем. И тут всем стало понятно, что каждый патрон — это шанс на жизнь. За один патрон можно было выменять хорошую шапку, за обойму — шинель! А за гранату — сапоги. Сапоги особенно в цене были. Пообносились мы, оборвались. Да и весна опять же наступила, вода пошла, а мы — всё ещё по-зимнему обмундированы, в валенках. Ходим. Помню, хлюпаем по воде... Ночами, правда, подтягивало. Но в мороз в мокрых валенках было ещё хуже! На прорыв когда пошли — хрип, кашель, “ура”... Шли с каким-то не то рёвом, не то стоном.

Лежали потом наши ребята на пригорочке... Кто в сапогах, кто в валенках... Почти все полегли во время прорыва. Прорывались несколько дней и ночей. И почти всё время шёл непрерывный бой.

— Во время Сталинградской битвы мы сперва стояли под Владимировкой. Обеспечивали связь вдоль железной дороги в сторону Астрахани.

Немцы часто бомбили эшелоны. Наша задача была — сразу после очередного налёта восстанавливать и обеспечивать связь.

Нас было двенадцать человек. Вскоре осталось только пятеро.

Летал над нами наш самолёт Як-3. Пролетит, крыльями качнёт. Мы ему руками помашем. Свой же! А неподалёку от наших блиндажей стояла зенитная установка. Расчёт девчат дежурил, станцию охранял. Месяца, может, два истребитель тот летал. Мы уже привыкли к нему. А однажды он нас вдруг обстрелял.

Ночью немец пробомбил. А утром мы полезли на столбы, поправлять сбитые с изоляторов и порванные провода. А он в это время пролетел, развернулся. Мы со столбов глядим: “Братцы, так это ж он в атаку заходит!” И точно, обработал нас изо всех пулемётов. Сразу двоих ранило, а третьего почти наповал.

Хорошо, девчата-зенитчицы увидели, как он на нас спикировал, дали очередь и тут же, первыми попаданиями, сбили его. Так и накрыли. В щепки!

Подбежали: лётчик-то не наш, форма на нём немецкая, офицерская! Летал, гад, вдоль дороги, высматривал наши эшелоны. И дальше бы так летал, вынюхивал, свои самолёты наводил, если бы нервы не подвели.

— Там же, под Сталинградом, наводили мы связь на одном полевом аэродроме.

Базировались на нём штурмовики Ил-2. Бои в те дни шли сильные, и они, бедняги, раза по четыре на дню мотались бомбить донецкую переправу.

Однажды эскадрилья штурмовиков пошла на взлёт. И тут налетели “мессершмитты”. Начали наших косить. Несколько секунд всего прошло, а пяти наших самолётов уже нет. Мы лежали в окопах. Один Ил-2 упал прямо возле нас. Бомбы он успел побросать и сел на живот. Шасси не раскрылись. Пропеллер согнут. Мы подбежали к нему. Лётчика быстро вытащили из кабины. Капитан. Трясётся. Седой весь. Повезло ему, живой остался. А другие четыре самолёта сгорели, взорвались. Попадали кто где.

Стоял уже ноябрь. Начались холода.

Бои усиливались.

— До войны я выучился на железнодорожника. И в первые месяцы войны работал на железной дороге, в том числе и под Москвой.

Мне уже исполнилось восемнадцать лет. И вот 22 апреля 1942 года: “Становись!” Лопнула моя “бронь”.

Попал я вначале в учебный батальон в Чувашию. Полтора месяца нас там обучали стрельбе из винтовки и метанию гранат. И — на фронт. 65-я армия, 225-й стрелковый полк. Под Сталинград. Вначале везли эшелонами. Потом, чтобы не попасть под налёты немецкой авиации, разгрузились и трое суток пешим маршем продвигались к Волге. Стоял конец июня. Жара.

Мы заняли позицию в трёхстах шагах от Волги на окраине Сталинграда. Вырыли окопы, соединили их траншеей. Песок. Копалось легко.

Вечером, когда наступало затишье, слышно было, как немцы кричали: “Рус! Иван! Скоро буль-буль!” Мол, сбросим вас в реку.

Около двух месяцев держались мы на том берегу.

Атаки были редкими. Слишком сильно мы сблизились. Нельзя было на нашем участке работать ни авиации, ни артиллерии, ни танкам. Донимали только снайперы и лёгкие миномёты.

Я так обжился в своём окопчике, что ребята, возвращавшиеся после лёгкого ранения из-за Волги через неделю-другую, видя меня, кричали: “Ты ещё здесь?” А я мазаный-перемазанный, в грязи и копоти: “Здесь, — говорю, — ещё живой”.

У меня было три котелка. А пришёл на Волгу с одним. В окопчике отрыл нишу и там свои котелки ставил. Иногда пойдёшь на кухню и двойную порцию каши получишь. Идёшь по траншее, смотришь, котелок валяется. Снайпер кого-то подкараулил. Вот такая судьба у солдата. А мёртвому котелок уже не нужен.

С каждым днём стрелков в наших окопах оставалось всё меньше.

Немцы вели огонь из развалин домов. Их снайперам было легче. Иногда, чтобы помочь своим снайперам, немцы имитировали атаки. Выскочат из-за домов, вроде как наступают, а сами тут же прячутся за развалинами. Мы огонь открываем. А снайперам только того и нужно. Смотришь, то один ткнулся, то другой упал.

Но и к этому мы приспособились. Ночью на рогатинах укрепляли винтовки. Пристреливали трассирующими пулями. К спусковому крючку привязывали верёвочку. И стреляли из окопов, не высывая головы.

Из всего взвода нас осталось тринадцать человек. Ну, думаем, если сейчас пойдёт, то уж точно сделает нам “буль-буль”. Но вскоре нас сменила свежая часть — мурманские моряки.

К тому времени немцы уже совсем притихли. Из-за домов уже не выскакивали. Видать, и у них потерь было не меньше.

Наш 225-й полк пошёл на отдых. Попрощался я со своим окопом с благодарностью — сколько раз он спасал мне жизнь! Котелки я забирать не стал. Один только забрал, свой.

За Волгой помылись в бане. Зачинили гимнастёрки.

— За Волгой мы недолго побыли. Полк пополнили и перебросили на Донской фронт. Началось окружение немцев под Сталинградом.

Мы стояли в излучине Дона. Степь. Поля. Балки. Местность открытая.

Мне было приказано идти с сапёрами, делать в проволочном заграждении проходы. Полк готовился к атаке. Атака была назначена на утро. Знать, не судьба мне была погибнуть в этой атаке, как погибли многие мои товарищи...

Дело было ночью. Ползём. Впереди сапёр, я за ним. Подползли к кольям. У сапёра ножницы. Начали резать проволоку. Я рогатиной поддерживал проволоку, а сапёр резал. Немец обстреливает из пулемёта нейтральную полосу. Нет-нет да и полыхнёт очередью. Бойтся. Для остротки стреляет. И как-то так я увлёкся работой, поднялся повыше, и — как ударит меня по шее! Показалось, что столб на меня упал. Я потрогал — кровь. Пуля вошла в шею и вышла с другой стороны. Обожгла, гадина. Пробила левую сонную артерию. Сознания я не потерял. Сапёр кричит: “Держи проволоку!” А потом увидел, что я весь в крови, говорит: “Ползи назад. Покричи санитаров.

А то кровью изойдёшь”. Пополз. Метров сто пятьдесят прополз, сил хватило. Кричать не могу. Дополз до своих, вот как жить хотелось. Дополз. Гляжу, лежит цепь, приготовилась к атаке. Тут санитары покричали. Санитар стал бинтовать. Кровь не унимается. Потащили в тыл. А ещё не рассвело, и можно было идти не таясь. Быстро потащили. Вытащили меня ребята.

Стоял уже декабрь.

Меня отправили в глубокий тыл, в Саратов. Тут меня уже спасали врачи.

— С ходу ворвались в одну деревню. Деревня почти целая. Пробежали в цепи почти до середины дворов. И тут пошло. Немцы стреляли из пулемётов и орудий. Хорошо, ротный сразу смекнул, что вперёд людей гнать — на верную погибель. Начал отводить нас. Но отходили мы грамотно. Перебежали от дома к дому, за сараями, у заборов и отстреливались. Двое-трое из отделения стреляют, а остальные отходят.

Тут и я по-настоящему стрелял по врагу. У меня была винтовка. Лихорадочно передёргивал затвор и, иногда прицеливаясь, а иногда так, наобум, лишь бы пальнуть, стрелял в сторону засевших за дворами немцев. Не знаю, попал я там в кого или нет, но я стрелял. Много патронов истратил. Когда стреляешь, азарт появляется.

Вот такие мы солдаты были в сорок втором году. Это ж потом мы опыта поднабрались. А в сорок втором...

Сержант, видя такое дело, помню, кричит нам: “Ребята! Пали в их сторону! А пуля дурака найдёт!” Не знаю, нашлись ли там дураки...

Из того периода запомнился ещё один эпизод.

— После окончания лейтенантской школы меня зачислили в 686-й артиллерийский полк 415-й стрелковой дивизии.

В январе полк вышел к железной дороге Ржев—Сычёвка. Нужно было перерезать её, оседлать большак. А в марте я повстречал своего бывшего однополчанина, с кем воевал под Зайцевой горой и под Сухиничами. Так получилось, что наш 686-й артиллерийский полк должен был огнём поддерживать батальоны 336-го стрелкового полка. Начиналось наступление на Вязьму.

Бегу на передний край с командиром взвода управления. Траншея неглубокая. Снайпер бьёт, так с бруствера снег и срезает. Связь наладили. За ночь аккумуляторы у радиостанции сели, и я пошёл за новым. Вот тут-то и повстречал я батальонного писаря. Долго поговорить не пришлось. С высоты начал бить немецкий пулемёт.

“Как там наши?” — спросил я у писаря. “А из наших никого уже и не осталось. Один Заика цел да я вот. Остальных... Кого убило, кто в госпитале”.

Пополз я дальше. Немцы стрельбу усилили. Мне из траншеи кричат: скорее, мол, ползи, а то сейчас из миномёта бить начнёт. Перевалялся я в траншею, лежу. Немцы стреляют из пулемётов — пули над траншеей веером разлетаются. Слышно даже, как они там, на высоте, кричат и топчут.

На следующий день сделали артиллерийскую подготовку и — вперёд! Командир взвода управления мне говорит: “Давай, Антипов, рацию на плечо и — с пехотой вперёд!” Что ж, с пехотой так с пехотой, мне к пехоте не привыкать, сам из пехоты.

Немцы не особо цеплялись за свои позиции. Мы легко сбивали их. Крупных боёв до самой Вязьмы не было. Остановимся, постреляем и — вперёд!

Подшли к Вязьме. Город горит. Ни одного дома, ни одного жителя. Запомнилось вот что: возле железнодорожной станции огромные кучи угля горят красно-чёрным огнём, и дым далеко стелется по окрестностям.

После взятия Вязьмы наш артиллерийский полк погрузили в эшелон и, ночами, транспортировали на юго-восток. Однажды утром я вылез из теплушки, огляделся и узнал станцию Кошняки. В Кошняках стоял всего один дом. Стоял тот дом рядом с железной дорогой. А кругом — много стогов сена.

Следующей ночью мы были уже в Калуге. Но и там долго не задержались. Наш эшелон направлялся под Белёв. Так мы к лету оказались на правом крыле Орловско-Курской дуги.

— На Украине уже было дело. Под Чернобылем.

Нашу роту из второго эшелона перебрасывали к передовой, вводили в бой. Шли взводными колоннами.

Вечерело. Впереди — деревня. До фронта ещё километра три. И вдрут из крайних хат — пулемётные очереди. Наш взвод шёл во главе колонны, так двоих сразу наповал, а ещё троих ранило. Что такое? Откуда тут немцы? Тут же развернулись в цепь. Один взвод зашёл с фланга, пулемётные точки гранатами забросали. Взяли мы их без особого труда. Смотрим: немцев среди убитых мало, в основном — власовцы. Троих живыми взяли.

Ротный наш курский был. Старший лейтенант. Как сейчас его помню: высокий, сухощавый, уже в годах. Ну, может, лет тридцати пяти так. До нас взводом командовал. Не дожил он до Победы. Снайпер его убил. В Германии уже. Вышел утром из землянки — чик! Прямо в сердце. В Курске у него семья была. Вся погибла. Бомба в дом попала. Жену и троих дочек — всех разом. Это мы знали.

В середине деревни, под вербами, три грузовика стояли. Моторы уже работали. Видать, драпануть хотели. В кабине одной из машин две девушки. С власовцами были. Но не в форме, а так, в платьишках.

Привели всех в хату. Меня поставили охранять их. Вот потому-то я всё и видел.

Пришёл ротный. С убитыми попрощался и пришёл. Ребят своих мы тут же, в деревне, и похоронили.

Пленных поставили прямо в хате, вдоль стены. Ротный крайнему власовцу: “Как же ты, сукин сын, посмел присягу нарушить?” — “В плен попал. Невыносимо было. Простите!” Ротный ему: “Прощаю”, — и в лоб из ТТ. Другому: “А ты почему немецкую форму надел?” — “Простите”. — И на колени упал. “Видать, и перед немцами ты так же унижался, на коленях стоял? Прощаю”. — И ему — в лоб. Третий весь трясётся, голову опустил, белый весь как мел. “А ты?” Тот молчит. Только слышно, как зубы стучат. “И тебя прощаю”.

Дальше девчата стоят. У них руки-ноги тоже ходуном ходят. Ротный им: “А вы как сюда попали?” А сам уже свой ТТ в кобуру прячет. Ярость в нём вроде как улеглась, только руки трясутся, никак пистолетом в кобуру не попадёт. “Обслуживали их?” — “Обслуживали”. — “Эх вы, шкуры! Подстилки немецкие! А если прикажу мою роту обслужить?” — “Обслужим, — говорят. — Только, дяденька, отпустите”. Молчит наш ротный, на них посматривает. Скулы у него так и прыгают. Гляжу, злоба в нём ещё играет. “А откуда ж вы родом?” — спрашивает и ремешок кобуры уже застёгивает. Они ему: “Курские”. — “Что-о?! Кур-с-ки-е?!” — “Да, дяденька, курские”. — “Нет! Нет и не будет никогда в Курске б... немецких!” — И выхватил пистолет, и обеих тут же положил.

Ох, натерпелся я тогда! Стоял — ни живой ни мёртвый.

А ночью ротный напился. К передовой его везли на подводе.

— А друга своего, алтайца, земляка, Мякшина, я потерял на Днестре.

Форсировали мы Днепр. Переправу начали ночью. Но немец тоже не спал. Тихо у нас не получилось. Начал бить из орудий. Бил он так плотно, что Днепр кипел от разрывов. И земляк мой где-то там под обстрелом потонул. Не нашёл я его на том берегу, когда переправились. Ни среди живых, ни среди раненых, ни среди убитых. В Днестре остался.

Нашей миномётной роте повезло. Переправились: все плоты целы, все стволы в наличии. Только вот народу много побило.

Как только мы закрепились там, на правом берегу, отбили контратаку, кинулся я Мякшина искать. И у ребят своих спрашивал, и у пехоты. Может, думаю, к ним во время боя прибился. Может, раненый где, без сознания, лежит. Весь берег облазил, да несколько раз. Знаешь, друга на фронте потерять...

— Перед форсированием Днестра был такой случай.

Разведчики наши притащили “языка”. А жители привели своего, в не-

мецкой форме. Власовца. И где они его прихватили? Говорят, у бабёшки какой-то прятался. Немец оказался из эсэсовской дивизии. Ни слова из него не вытащили. И повесили их обоих возле штаба полка. Немца — за шею. А власовца — за ноги. Долго он так, вниз головой, болтался. Немец сразу затих. А этот ещё долго живой был.

— После аэроклуба нас направили в 3-ю Чкаловскую школу пилотов, которая находилась в Чёрном Остроге, в Сибири. Школа выпускала военных лётчиков скоростной бомбардировочной авиации. Осваивали мы бомбардировщик СБ. Двухмоторный. Самый, пожалуй, лучший бомбардировщик на то время.

22 июня, в выходной, сбежали в самоволку, на Урал, искупаться. Лето, жара. И вдруг слышим — в части у нас: “Ура! Ура!” Быстро выскочили из воды, оделись. Побежали. Построение. “Что такое?” — “Война!” — “С кем?” — “С Германией”. Мы запечалились: не придётся нам воевать, Красная Армия разобьёт Гитлера быстро, да там ещё рабочий класс Германии поднимется... Так что до нас дело вряд ли дойдёт.

Но дошло дело и до нас.

Тянулись дни, недели, месяцы. Пошли сообщения: такого-то числа наши войска оставили такой-то город, отступили на такой-то рубеж. Мы думали: ну что же там наши так отступают? Вот уже бои шли под Москвой. Под Москвой выстояли. Схватились за Сталинград. Фронт растянулся. Охватил всю страну.

В 1942 году я уже самостоятельно летал на СБ. Выполнял необходимые упражнения. Оставалось отработать несколько видов полётов во взаимодействии со штурманом. В экипаже СБ три человека: лётчик, штурман и стрелок-радист.

Зимой 1943 года мы получили новые самолёты Ил-2.

Аэродром был занесён снегами. Пурга за пургой. Полёты начались только в конце апреля, когда прекратились снежные заносы и немного удалось расчистить аэродром. Пошла интенсивная переподготовка нас, бомбардировщиков, в штурмовиков.

Лётчиков из нашей школы выпускали в звании сержантов. Одевали соответственно. Обували в ботинки с обмотками. Весной сорок третьего пришёл новый приказ: выпускать лётчиков младшими лейтенантами. Я оказался среди первых офицеров — выпускников нашей школы. Но хоть и выпускали нас уже офицерами, а одевали как простых пехотных бойцов. Прибыл я на фронт младшим лейтенантом. Ил-2 освоил быстро. Машина мне понравилась.

Стрелять нас в лётной школе не учили. Говорили так: “Научитесь стрелять на фронте”. Учили летать.

Фронт — не лётная школа. Там всему, что надо, учились быстро. Или — погибали. Перед первым полётом наставляли так: самое главное — взлететь; взлетел, пристраивайся к ведущему и дальше уже выполняй все его команды. Связь поддерживать визуально, потому что в наушниках один треск, и радио лучше отключить, чтобы не отвлекала. Задача: не прозевать очередную команду, быть предельно внимательным. Посыпались бомбы у ведущего, и ты бросай. Заработали пушки у ведущего, открывай огонь и ты.

На полигоне в школе я не бросил ни одной бомбы, не произвёл ни одного выстрела из пушек. До прибытия в эскадрилью я даже не слышал, как гремят авиационные пушки. “На фронте! Всему научитесь на фронте!”

Мой 946-й штурмовой авиационный полк формировался в 1942 году. Я, разумеется, в первый состав не попал. Никто из первого состава лётчиков полка до Победы не дожил. Три состава полка полегли в полях от Подмосковья до Германии, сгорели в воздухе, пропали без вести, упав на вражеской территории.

За всю войну я совершил ровно 70 боевых вылетов. До начала боёв на Курской дуге лётчика-штурмовика уже за 50 боевых вылетов представляли к званию Героя Советского Союза. После Курска, чтобы получить Героя, надо было совершить 100 боевых вылетов. Дважды я был сбит. Третий раз падал из-за неисправности в двигателе. При падении самолёта был ранен. Но пули всегда пролетали мимо меня. Бог миловал.

Операция “Багратион” началась 23 июня 1944 года. Мой первый боевой вылет.

Наш полевой аэродром расположился между Жлобином и Рогачовом в Довске. Но сразу на свой аэродром мы не перебазировались, чтобы не обнаружить себя. Накануне, 22 июня, с брешего сели и замаскировали машины. На другой день мы должны были атаковать с воздуха передовые порядки немецких войск прямо по фронту.

Двадцать третьего — подъём! Прибыли на аэродром. Погода отвратительная. Низкая облачность. Тем не менее Первая эскадрилья вылетела согласно графику в полном составе. Мы, Вторая, ждём. Уже время им возвращаться, садиться. Ждём. И вот появились первые. Возвращаются по одному.

Командир полка срочно принимает решение: Второй — вылетать парами.

Мне в пару попался тоже новичок необстрелянный — первый вылет. Миша Антоненко. Но он старше меня по званию — старший лейтенант. Раньше он был техником, уже воевал, подал рапорт и переучился на лётчика. Он — ведущий, я — ведомый.

Взлетели. Он до того растерялся, что забыл убрать шасси. Я залетел вперёд, качнул крыльями, выпустил шасси и тут же убрал, знак ему подал. Но он так и не понял и шасси не убрал.

Лечу. И вдруг, чувствую, начал давать сбои двигатель моего самолёта. Что такое? Возвращаться? Я представил своё возвращение... Скажут: “Трус!” Нет, возвращаться не буду. Держусь на минимальной скорости — 250 километров в час. Чуть только прибавлю — глохнет. Ладно, лечу потихоньку. От ведущего своего, от Миши Антоненко, я сразу отстал. Но вскоре долетел до Днепра. Перелетел реку. Вижу внизу: траншеи, вот они, зигзагами опоясывают берег Днепра. Окопы. Как красиво накопили, гады! Кое-где видны свежие воронки. Они ещё дымятся. Наши поработали. С ходу сбросил бомбы. Сделал вираж, зашёл так же, вдоль траншеи, отработал из пушек и пулемётов. Стрелять мне сразу понравилось. К тому же сверху всё хорошо видно. Вон они, немцы, сидят в траншее, по мне палят из винтовок и пулемётов. Отстрелялся и назад потянул, за Днепр, домой. Вернулся, а ведущего моего нет. Как потом оказалось, его “мессер” сбил. Сам-то Антоненко живой остался. А машина погибла. Прилетел я, доложил о поломке. Проверили. Действительно: в карбюратор подсасывало воздух.

В этот день в нашем полку погибли четыре экипажа.

В моём самолёте техник насчитал больше двадцати пробоин.

— Стояли мы под Белостоком.

День уже клонился к вечеру. Мы готовились к ужину. Знали, сейчас — по сто граммов, покушаем и отдыхать. Водку давали только на ужин.

Вдруг бежит посыльный: “Вторая эскадрилья — к боевому вылету!”

Накрылись наши сто граммов...

Облачность очень низкая. Поэтому — работать над целью с ходу, с брешего. Никакой штурмовки.

Нашу пехоту на плацдарме прижали очень сильно, и надо было срочно поддержать славян. Нам сказали, что наша пехота будет обозначать себя красными ракетами. Ракеты они будут пускать в сторону немцев. Поэтому решили так: как только увидим ракеты, так сразу и бомбить, бомбы как раз к немцам и прилетят. Этот приём мы уже хорошо знали. И бомбить, и стрелять к тому времени мы уже научились.

Пошли четвёрками. Пошло первое звено. Через четыреста-пятьсот метров второе звено, потом, через такой же интервал, третье.

Полетели мы на плацдарм. Летим, а пехота себя никак не обозначает. Мы убрали обороты, чтобы лететь помедленнее. Внимательно смотрим вниз. Стали друг над другом, следим, чтобы винтами один другого не зарубить. Я шёл в третьей четвёрке. Вижу, дело неверное. Ушёл в облака. Минуты три шёл в облаках. Начал выходить. Время уже выйти, а земли нет. Наконец, вижу, внизу затемнело: вот она, земля. Дело лётчика, в особенности это касается штурмовика, такое: летай в небе, а землю чувствуй. Огляделся: нет никого. Я — один. Встал в вираж. Смотрю, ещё один наш идёт — Костя Го-

лышкин. Сразу качнул крыльями. Мы друг друга сразу узнавали, издали. Встали в пару. Ведущим никто не идёт. То я ему в хвост захожу, то он мне. Потом, смотрю, третий наш появился — Сафронов. Сафронов был постарше нас, посмелее. С сорок третьего года воевал. Сделал знак: “Давайте ко мне”. Мы пристроились. Пошли. Летим. Ищем ориентиры. Видим, внизу идёт железная дорога. Сразу узнали её по очертаниям на картах: Гдыня—Бромберг. Идём хорошо. Ребята рядом опытные, бывалые. С такими в небе не страшно. Оба потом погибли. Идём. Вроде облачность поредела. Видимость улучшилась. Слева железная дорога. Догоняем немецкий состав. Мы бы прошли и не тронули его. Не до него нам было. Мы обрадовались, что нашли ориентир, и от него теперь надо было искать передовую, чтобы выполнить задание.

Но с эшелона нас обстреляли. Смотрим: трассы от поезда идут к нам. Н-ну, братцы!.. У вас — пулемёты. А у нас — бомбы, ещё полный боекомплект, пушки заряжены. Мы сразу — в правый разворот, выходим на угол атаки. Пропустили эшелон под углом примерно в 60—70 градусов. Легли на бреющий. Тут уж не промахнёшься. Бомба мимо состава не проскочит. Если и недолёт, то подпрыгнет и — в первый же попавшийся вагон! Так и получилось. Разделали мы тот состав под орех.

Прилетели на аэродром, уже начало смеркаться. Зашли. Удачно сели. Комполка к нам: “Такие-сякие! Где были?” Докладываем: “Так и так. Отбомбили эшелон”. — “Точно?” — “Так точно! Отработали — дай Бог на Пасху!..”

На другой день утром послали туда разведчика с фотоаппаратом. Тот проверил, зафотографировал нашу работу. Нам всем — благодарность.

— Наша вторая эскадрилья удачно штурмовала переправы. Как-то так сложилось. Целая серия вылетов на штурмовку переправ, и всё удачные. И задачу выполняли, и возвращались без потерь. Везло. И мы в полку считались уже мастерами по переправам.

А надо заметить, что переправы свои немцы охраняли особенно тщательно. Зенитные батареи, “эрликаны”, истребители.

Ниже Остроленки на Западном Буге наши разбили немецкую переправу. Но немцы быстро, как они умели это делать, навели понтонный мост.

И вот нам приказ: уничтожить понтоны и таким образом задержать переправу отступающих немецких колонн через Западный Буг. Действовать решили так: со своей территории на бреющем идём прямо на переправу; идём во фронт — все двенадцать самолётов. И по команде ведущего одновременно бросаем бомбы. А у нас у каждого по четыре стокилограммовых бомбы. Сто кило — чушка хорошая.

Так и сделали. Выскочили из-за леса на бреющем, все двенадцать машин, — вот она, переправа. Вот зенитные батареи. Колонны техники. Танки, тягачи с орудиями, мотоциклы. С ходу отбомбились. Вышли на немецкую территорию, развернулись на 180 градусов. Набрали немного высоты. Заходим в атаку и бросаем машины в пике. Ударили из пушек и пулемётов. Снаряды по трассе ложатся хорошо. Хорошо вижу свои дорожки — по воде, по понтонам, по колонне, по земле. Там, внизу, месиво. Паника.

Стал выводить самолёт из атаки. И в это время немецкий зенитный снаряд ударил в мою левую пушку. Пушка располагалась в центроплане на левой плоскости. Разворотило не только пушку, но и обшивку. Мой самолёт начало швырять. Никак не вырву его из пике. Земля уже близко. С парашютом выбрасываться поздно. Смотрю, нос мой понемногу поднимается, поднимается. Вытянул кое-как. Но заметил: чем меньше скорость, тем меньше и крен. Так, на минимальной скорости, и дотянул до своей территории. Гляжу, Алёша Третьяков прикрывает меня, не бросает. Эскадрилья уже ушла вперёд, домой. А Алёша со мною остался. Высоты у меня уже совсем нет, метров десять-пятнадцать. Чувствую, что самолёт всё ниже и ниже. Третьяков мне машет: мол, садись! Хорошо, что поле внизу. Я — на живот. И пошло меня швырять. Кувыркался долго. Но жив остался.

Упал я в расположение нашей танковой части. Танкисты подбежали, вытащили из машины. Кое-как я очухался. Танкисты обрадовались, что я

живой. Повели к себе. И давай угощать! Как-никак — коллеги! “Илы” на фронте называли летающими танками. И работали мы с нашими танкистами очень часто вместе — против немецких танков. Они видели нашу работу. Уважали нас. Мы их — тоже. Они видели, какими мы возвращались домой. Бывало, летишь, а от тебя куски обшивки отрываются. “Рус фанэр!” Но — тянешь. Глядишь, и сел. За ночь техник залатает пробоины, заплаток наставит, и — опять вперёд! Так что мы на своей “фанэре” лихо летали и дрались отчаянно.

На другой день пошёл я к своим пробираться. Надо было выйти на дорогу Варшава—Белосток. Пошёл. Танкисты хотели провожатого дать, но я отказался, сказал, что дойду и сам. Прошёл лесок. Вышел на поляну. И что я увидел...

Столько побитых людей сразу, в одном месте, я не видел больше нигде. Трупы лежали сплошь. Иногда один на другом. От леска и до самого шоссе. Видимо, рукопашная была. Я как увидел всё это, даже испугался и вытащил из кобуры свой ТТ. Иду. Понимаю, что здесь уже нет живых, а — страшно. Жутко сделалось. Многие уже раздеты. Поляки раздели. Жители. И не понять уже было, где наши, а где немцы. Я смотрел вокруг и думал: сколько ж людей, на одном поле, полегло! Сперва я обходил трупы. А потом побывк, стал перешагивать. В одном месте, смотрю, лужица — вода, и к этой лужице, с трёх сторон, три солдата...

Мы победили немцев в том числе и количеством. Они тщательно подсчитывали свои потери.

У нас списков погибших не было. Они попросту не велись. Мы своих не жалели. В музее нашего штурмового полка списка всех погибших в годы войны нет. Я спросил, хотел узнать, когда погибли мои товарищи. Хотел уточнить, чтобы поминать их. Нет списка!

Был, помню, у нас начштаба Лупачёв. Подходили мы уже к границе Германии. Летали удачно и не теряли никого. Базировались на полевом аэродроме где-то возле Бромберга. Полетим, отработаем по целям и — назад. Все целы. В небе к тому времени мы уже главенствовали. А зенитки научились сразу подавлять. И он нам, начштаба, раз и говорит: “А не жульничаете ли вы, ребята?” Мы всё время взаимодействовали с пехотой. Пехотинцы же видят, где и как мы работаем. Пехота пошла, танки двинулись, мы поддерживаем их, идём совсем рядом, иногда метрах в пятнадцати-двадцати впереди. На бредущем пропахивали немецкие окопы, блиндажи, пулемётные гнёзда. Артиллерию накрывали, танки, самоходки. Мы атаковали рядом с пехотой. А штабники в те атаки не ходили. И, когда наша кровь лилась рекой, им казалось, что это и была настоящая войны. А когда мы стали воевать лучше, почти без потерь... Не в обиду им говорю. Так было.

Человек есть человек. Каждый воин стремился воевать честно, поразить врага. Но хотел и свою жизнь сохранить. Иногда чувство самосохранения оказывалось сильнее других. Однажды мы вылетели на задание — бомбить немецкий аэродром. Что такое аэродром? Это — прежде всего мощная система ПВО. Зенитки. Мы их, конечно же, боялись. От истребителя можно было отбиться, уйти. Но если в самолёт попал зенитный снаряд, его иногда разносило в куски. И вот летим. Впереди показался аэродром. С ходу выходим на цель, ложимся в атаку. А ведущий наш вдруг — вираж и в облака! Атаки не получилось. Отбомбились как попало. Прилетели, спрашиваем его: “Что ж ты?” А он и по званию старше нас, и опыта боёв у него побольше. И орденов. А вот... Он и говорит: “Ну не смог!” Может, предчувствие было нехорошее. Потом ничего, летал, дрался отважно.

— Второй раз меня сбили под Замбровом. Мы работали по их танкам. Как всегда: три-четыре захода для бомбометания, а потом — огонь из пушек и пулемётов. Выбираешь цель и бьёшь по трассе. У танка усиленная броня — боковая. Он защищён от наземной артиллерии. А сверху и сбоку, как правило, слабая. Смотришь, пошла твоя трасса, начала буровить землю, но снаряды рвутся с недолётом. Идёшь, идёшь, подводишь трассу к танку и накрываешь его. На вираже оглянешься на секунду — горит крестник.

Во время очередной атаки мне в двигатель попал снаряд из “эрликона”. Не разрывной — бронебойный. Мотор сразу задымил, потом загорелся. Я быстро развернулся в сторону своей территории. Самолёт ещё слушался руля. До аэродрома недалеко. До наших траншей поближе. Километра два, и вот она, наша пехота. Тяну. Внизу лес. Сплошной лес. Нет, не дотяну. Скорость падает, высота тоже. Лес не кончается. Чёрт бы его побрал. В лётной школе нас учили так: при вынужденной посадке на лесной массив верхушки деревьев принимать за поверхность земли...

А у них лес не то что у нас: растёт рядами, ровными-ровными. Посадки. Моя “сигара” с двигателем и пошла между двух рядов. Плоскости сразу обрубило деревьями. Центроплан отлетел. В нашем лесу так не получилось бы. В нашем падал бы по-другому. Деревья мелькают. Лечу. Ударился. При ударе о землю выскочило лобовое бронестекло. Толстое, пуленепробиваемое, тяжёлое. Выскочило и задело мне по голове. Стрелка привалило деревом. Деревьев мы всё же нарубили порядком.

Тут же прибежали пехотинцы. Ох, молодцы ребята, наша славная пехота! Скольким лётчикам они спасли жизни! Мы только упали, а они уже тут. Вытащили нас. Положили. Хорошо, что самолёт не взорвался. Пламя сбило, погасило во время падения, когда мы шумели по ветвям деревьев. Стрелок очухался раньше меня. Мне кожу срезало на лбу и задрало. Стрелок на меня смотрит и говорит испуганно: “Командир, у тебя мозги видны!” Вот дурило. И меня перепугало.

Пехотинцы отнесли меня в свой госпиталь. Перевязали. Сутки я спал. Выходили меня пехотинцы. А вскоре я вернулся в полк.

Хорошая война у лётчиков! То у танкистов погостил, то у пехотинцев. Все тебе рады, все стараются угостить.

Не завидовали мы нашей пехоте, видели, как они поднимаются под огнём. Думали: не дай Бог воевать в пехоте. Не завидовали и танкистам, видели, как горят наши “тридцатьчетвёрки” от прямых попаданий противотанковой артиллерии и “тигров”. Думали: хорошо, что мы не танкисты. А они — и пехота, и танкисты — видать, смотрели, как мы через их позиции к немцам мотаемся, какие битые-перебитые возвращаемся, как падаем, не дотянув даже до своих траншей, и тоже думали: хорошо, что мы не лётчики...

Так что на войне везде хорошо было.

— Уже когда аэродромы наши перекочевали за Одер, цели нам не определяли. Началась свободная охота. Вылетаем звеном. Летим четвёркой и цель себе ищем сами. Носимся вдоль дорог, магистралей. Там мы уже не боялись. Поднимались и повыше. “Мессершмитты” уже не появлялись.

Летим раз. Шоссейная дорога. Дорога на Штеттин. Справа железнодорожная станция. Наши машины к тому времени хорошими передатчиками укомплектовали. Я говорю командиру звена: “Юрченко, давай ударим по станции. Смотри, паровозы стоят под парами”. А он мне: “Ты посмотри, что под нами творится”. Под нами идёт колонна. Как только мы её настигли, немцы сразу врасыпную. С одной стороны вдоль шоссе — болото. С другой — поле и лес невдалеке. Когда они нас увидели, сразу побежали к тому лесу.

Нам развернуться — секундное дело. Развернулись и — пошли хлестать! Взяли мы тогда грех на душу. Это я точно знаю. Там, внизу, в колонне, были не только военные. Беженцы тоже шли. Много. Солдаты-то, те сразу к лесу побежали, они знали, где от бомбёжки лучше спрятаться. А гражданские рядом с дорогой залегли. Многие в колонне остались.

Поругались мы тогда с Юрченко. Я ему потом, уже на аэродроме: “Ударили бы по станции...” Он ничего не ответил, отвернулся. А командир был он, ему решать, по какой цели работать.

Тот вылет был последним боевым.

Война шла жестокая. И они бомбили наши обозы с беженцами, и мы потом...

— А вечером в нашем полку был писатель Фёдор Панферов. Знаешь такого? Читал? А вот я с ним разговаривал, руку ему жал. Его роман “Бруски” я уже после войны прочитал. Панферова мы в полку принимали как дорогого гостя и большого человека. На другой день наш старшина рассказывает: “Ну, ребята! Мы пьём крепко, сами знаете... Но как он пьёт!” — “Ну, а как же он пьёт?” — спрашиваем, а сами думаем: уж нашего-то старшину трудно этим делом удивить, он у нас во всей дивизии самый большой мастер по этой части. Никто его не мог перепить. За всю войну — никто. “А вот как, — говорит наш старшина, а сам вроде как немного расстроенный. — Меня перепил! Хор-роший писатель!”

— Когда я думаю о войне, я думаю о своих товарищах. Из них уже почти никого не осталось в живых. Из моей второй эскадрильи 189-го гвардейского ордена Суворова штурмового авиаполка 4-го штурмового корпуса остался я один.

Вспоминаю своих стрелков.

Стрелки в штурмовой авиации гибли чаще. Они почти не были защищены. Вспоминаю Гришу Рудого. Лихой был парень. Отличный стрелок. Его крупнокалиберный пулемёт так и работал, так и рокотал. Когда он вёл огонь, я был спокоен: “мессеров” он ни за что не подпустит.

Однажды, под одним польским городком, мы бомбили железнодорожную станцию. Выстроились “колесом”, чтобы “мессеры” не подошли, и начали раскатывать немцев. Работали всей эскадрильей. И вдруг видим — от станции по шоссе покотился мотоцикл. Командир мне: “Романов! Догони!” А мне за ним гнаться — дело недолгое. Я срезал круг, зашёл прямо на него, обдал снарядами. На вираже глянул: мотоцикл валяется. Вот и всё, думаю. А стрелок кричит: “Лён, а он жив!” — “Ну ударь ты по нему”. Зашёл. А Гриша Рудой мне: “Не могу. Зайди покруче”. Захожу. А я его уже тоже увидел: прячется за деревом. Вдоль шоссе огромные такие деревья стоят. Я дал очередь, так, для имитации атаки. И немец сразу перебежал за дерево. Проскочил я то дерево и пошёл над полем с набором высоты. А Гриша, когда я наклонил крыло, ударил длинной очередью из своего безотказного УБ. Слышу, кричит: “Всё, командир! Пошли!”

Вспоминаю, как мы спасли друг друга от немецких зениток. “Эрликаны” нас били на высоте 400—500 метров в момент, когда мы выходили из атаки. Вот тут они веселились! Тут они нас распекали! Как попадёшь в их трассу... Если снизу заработал “эрликон”, по прямой не иди, маневрируй, вправо-влево машину кидай. Из зенитных орудий немцы били тоже довольно точно. Идёшь на высоте 800 метров, снаряды рвутся точно на нашей высоте. Смотришь, разорвался снаряд справа. Ага. Я тогда самолёт вправо, к разрыву, и подтягиваю. Всё, следующий снаряд уже точно не мой. А молодые лётчики, глядишь, пошли шарахаться от разрывов. Нервы не выдерживают, хладнокровия нет. А снизу немцы всё видят. Если зенитчики опытные, они сразу отбивают этот самолёт в сторону и — весь огонь — по нему. Глядишь, повалили...

В авиации выдержка — главное оружие.

Что такое боевой вылет? Сказать легко: “Боевой вылет”. А слетать...

Сидим на КП. Прибегает посыльный: “Вторая эскадрилья! На вылет!” Маршрут проложен. Задача: уничтожить аэродром противника. А там не только зенитки и “эрликаны”, но и дежурные “мессеры”. Мы это знаем. В голове это всё стоит. Техник докладывает, какие бомбы и какие на них взрыватели. Садись в кабину и ждешь. Ждешь ракету. Когда она взлетит.

Вот тут-то и начинается. И думы всякие в голову... И ноги затрясутся. Прижмёшь, помню, к педали, и сквозь зубы: “Да не дрыгай ты, ёшь-твою!..” У всех это было. Думаешь: неужели в последний раз лечу? Механик кричит: “Ракета!” Ох, слава тебе Господи! Кончилась пытка. Запускаешь двигатель. Всё сразу, все страхи-сомнения куда-то деваются. Начинаешь действовать. Пошла работа. Выруливаем. Друг за другом. Порядок давно известен и отработан до автоматизма. Побежали по взлётной дорожке. Два километра бежит самолёт. Бежит, бежит, бедолага. Скорость всё больше. Смотришь,

руля стал слушаться — схватил. Вот уже начал помаленьку отрываться от земли. Подпрыгнул. Ещё раз подпрыгнул, уже дальше. И — оторва-ался. Тянешь вдоль земли. Держишь его пока у земли. Не надо спешить. Пусть так — вдоль земли потянет. Самолёт тяжёлый, с полным боекомплектом. Ага. Скорость пошла-пошла-пошла! Двести пятьдесят! Двести семьдесят. В набор! Пош-щёл. Уже хорошо слушается руля. Встаёшь в свой ряд. Но тут опять начинаешь думать: почему немцы не стреляют? Где они? Вот тут опять коленки могут задрожать. Погода смотришь, зенитки ударили. Ага. Вон они. Всё как всегда. Двое наших отрываюся и пошли на них в атаку. Кто кого! Ребята мчатся прямо на зенитки. Нас прикрывают. Зенитки атаковать — опасная работа. Это всё равно что на львов охотиться. Потом летим назад. Двоих или троих с нами уже нет. Сбиты. Думаем: кого потеряли? Хорошо, если на горящих машинах до своих дотянули. Тогда, может, через день-другой в полк вернуться. Если во время посадки не взорвутся, не разобьются. Попробуй, посади горящий самолёт. Машина уже ни руля не слушается, ни высоты нет, ни скорости. Падает. Шасси не выпускаются. А если и сам ещё ранен, если “мессер” прицепился и добивает, всаживает в машину очередь за очередью...

Лётчиками мы стали только в сорок пятом году. Научились. Немцы перед отправкой на фронт должны были налетать 700 учебных часов. У нас было по 23 часа! Но мы их уделали!

А бывало, и своих бомбили. Неразбериха. И по соседнему аэродрому работаем. Однажды, это было под Довском, мы вдвоём в непогоду сели к соседям. А на них днём раньше наши налетели, отбомбили, сожгли один самолёт, американский двухмоторный бомбардировщик “Бостон”. Под ним погиб техник. Вот так. Радиостанции не работали. А лётчики — новички, из пополнения. Залетели, глянули, а на взлётной полосе неизвестные самолёты, которых на своих аэродромах они никогда не видели... Вот и шарахнули. Сели мы, а на нас там смотреть не хотят. Говорят: “Что ж вы, сволочи, вчера натворили!” А наш полк — с жёлтыми колпаками. Они как увидели жёлтые колпаки на пропеллерах наших самолетов, так чуть не в драку.

Много наших могил от Москвы до Берлина. “Илы” лежат везде. И чем дальше на запад, тем их больше.

Везде лежат наши соколы, ребята из штурмовых авиаполков. Лежат три состава и нашего 946-го, а затем 189-го гвардейского штурмового авиаполка.

А я всё ещё лечу. Снится иногда: лечу. Может, к ним и лечу.

— Когда мы ворвались в Орёл, едва не попали под огонь своих танков.

А как произошло... Мы, миномётчики и пехота, вошли в город с одной стороны, а танкисты ворвались с другой. Идём, немцев из домов выкуриваем. Один квартал прошли, другой. Смотрим, что-то с той стороны огонь усилился. Думали, немцы контратаку готовят. Командир роты в бинокль глянул: а это по нашим цепям уже “тридцатьчетвёрки” бьют. Стали мы прятаться кто куда. Танки-то уже — вот они! Рядом! Ревут навстречу! Из орудий и пулемётов палят! Повидали мы на войне и этого — как наши “тридцатьчетвёрки” атакуют. Мы, четверо из расчёта, набились в ровик. Сидим. А ровик тот мелкий, тесный, немцем выкопанный, видать, наспех, когда мы наседали. А танк летит прямо на нас! Ну, думаем, конец нам. Двух шагов, может, не доехал, и тут ему навстречу выбежал один из наших миномётчиков. Он в ровик не поместился, залёг рядом. Видит, смерть идёт, вот и кинулся навстречу танку. Замахал руками, закричал. Так бы и придавил в ровике нас свой танк.

Танкисты вылезли. Чумазые. Смеются. “Где немцы?” Ребята им на трупы показали. А трупов немецких кругом было много навалено. Прихватили мы их тут: мы с одной стороны, а танкисты — с другой.

Потом мы шли через аэродром. На взлётной полосе стояло много немецких самолётов. Сожжённых и целых. Видимо, горючего у них уже не было. Мы смотрели на них и радовались: эти летать уже не будут. Повсюду стояли машины, бронетранспортёры, танкетки, танки. Немец под Орлом много всего побросал.

Следом за нами шли трофейные части.

— Вспоминаю свой первый бой. Первую атаку. Там я потерял своего друга и земляка младшего сержанта Власенкова. Я командовал первым отделением, а он — вторым.

Развернули мы свои отделения и пошли цепью. Идём. Снаряд то там упадёт, то там. Немцев не видать. А тут начали бить миномёты. Прошли с километр. Стало смеркаться. По цепи передали приказ: наступление прекратить, окапываться по обрезу речки. И только мы остановились, вздохнули с облегчением, что без потерь обошлось, мина ударила. И осколком зацепило Власенкова. Я подбежал, смотрю: лежит земляк, живот распорот и кишки выбросило на куст. Глаза открыты, но уже неживые. Голова запрокинута. Вот тебе и судьба. В первом же бою.

Похоронили мы его на опушке леса. Родом он был из Верхних Барсуков.

После войны я навестил его мать. “Умершая” ей сразу пришла. А я ей рассказал, как случилось всё, где мы его похоронили.

Часто вспоминаю их, оставшихся на войне. Своих товарищей. Мы-то вот пожили, состарились. Детей народили. Баб любили. И нас бабы любили. Пожили. А они остались там, в полях, в окопах да на опушках. Молодые, красивые люди...